

ISSN 0131-677X

АКАДЕМИЯ НАУК СССР
АКАДЕМИЯ НАУК АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ ССР

СОВЕТСКАЯ ТЮРКОЛОГИЯ

La Turcologie soviétique
Soviet Turkology
Sowjetische Türkologie



1

БАКУ • 1989

АКАДЕМИЯ НАУК СССР
АКАДЕМИЯ НАУК АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ ССР

С О В Е Т С К А Я ТЮРКОЛОГИЯ

ЖУРНАЛ ОСНОВАН В 1970 ГОДУ

Выходит 6 раз в год

№ 1

ЯНВАРЬ—ФЕВРАЛЬ

БАКУ — 1989

ACADEMY OF SCIENCES OF THE USSR
ACADEMY OF SCIENCES OF THE AZERBAIJAN SSR

СОВЕТСКАЯ ТЮРКОЛОГИЯ
LA TURCOLOGIE SOVIÉTIQUE
SOVIET TURKOLOGY
SOWJETISCHE TURKOLOGIE

Редакционная коллегия: главный редактор Э. Р. Тенишев (Москва), зам. главного редактора С. Н. Иванов (Ленинград), первый зам. главного редактора А. М. Мамедов (Баку), зам. главного редактора К. М. Мусаев (Москва), И. Х. Ахматов (Нальчик), А. А. Ахундов (Баку), Р. Б. Бердибаев (Алма-Ата), Г. Ф. Благова (Москва), Н. З. Гаджиева (Москва), Э. А. Грунина (Москва), Е. З. Кажибеков (Алма-Ата), И. В. Кормушин (Москва), Л. С. Левитская (Москва), Т. Д. Меликов (Москва), Б. А. Набиев (Баку), Б. А. Назаров (Ташкент), Е. А. Поцелуевский (Москва), К. К. Султанов (Москва), З. Г. Ураксин (Уфа), А. А. Чеченов (Москва), А. М. Щербак (Ленинград).

Ответственный секретарь
Н. Г. Наджафов

«Советская тюркология», 370143, Баку, пр. Нариманова, 31. Академгородок. Тел.: 39-24-57, 39-22-86.

Editorial board: editor-in-chief E. R. Tenishev (Moscow), assistant editor S. N. Ivanov (Leningrad), the first assistant editor A. M. Mamedov (Baku), assistant editor K. M. Musayev (Moscow), I. H. Akhmatov (Nalchik), A. A. Akhundov (Baku), R. B. Berdibayev (Alma-Ata), G. F. Blagova (Moscow), N. Z. Gadzhieva (Moscow), E. A. Grunina (Moscow), E. Z. Kazhibekov (Alma-Ata), I. V. Kormushin (Moscow), L. S. Levitskaya (Moscow), T. D. Melikov (Moscow), B. A. Nabyev (Baku), B. A. Nazarov (Tashkent), J. A. Potseluyevsky (Moscow), K. K. Sultanov (Moscow), Z. G. Uraksin (Ufa), A. A. Chechenov (Moscow), A. M. Scherbak (Leningrad).

Executive secretary
N. G. Nadzhafov

«Sovjetskaja tjurkologija», Akademija nauk
Azerbajdžanskoj SSR,
370143, Baku, prosp. Narimanova, 31.
Tel.: 39-24-57, 39-22-86.

The journal is published 6 times a year. Subscriptions should be sent to «Mezhdunarodnaya Kniga» (Moscow F-200). Annual subscription 6 roubles 60 kopeks.

И. В. КОРМУШИН, К. М. МУСАЕВ,
Б. О. ОРУЗБАЕВА

ЗА ВСЕМЕРНОЕ РАЗВИТИЕ ТЮРКСКОГО ЯЗЫКОЗНАНИЯ В НОВЫХ ОБЩЕСТВЕННЫХ УСЛОВИЯХ СОВЕТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ*

Прошло три года со времени проведения предыдущей, IV, Всесоюзной тюркологической конференции в Ашхабаде. Всего три года, но какие огромные, поистине революционные изменения произошли во всех сферах жизни советского народа. Осуществляемая в стране перестройка, радикальная экономическая реформа, взятый на январском (1987 г.) Пленуме ЦК КПСС и подтвержденный на XIX Всесоюзной партконференции курс на демократизацию и гласность пробудили в самых широких массах политическую, гражданскую активность, неутолимую жажду знать без прикрас прошлое и настоящее своей страны, активизировали неистребимую тягу народов к национальному самосохранению и самоутверждению.

В национальных аспектах резкого изменения общественного самосознания в СССР на одно из первых мест выдвинулись языковые вопросы — суверенность национального языка в республиках, фактическое, а не только декларированное юридически равноправие носителей малых и больших языков в получении образования, участия в государственной деятельности. Не меньшую значимость имеет сохранение и развитие всех, в том числе «неперспективных» (для некоторых горе-теоретиков) языков небольших по численности народностей.

Национальный язык — сокровищница духовного опыта народа, поэтому он олицетворяет все национально-особенное. И именно поэтому всякое ущемление — пусть непреднамеренное — национальных языков больно отзывается в душе народа. Изучение или неизучение, развитие или неразвитие национальных языков не есть категория экономическая: этот вопрос не должен решаться исходя из уровня рентабельности материальных затрат на те или иные мероприятия в этой области.

Эффективность общественного производства зависит от демократических начал его организации, прежде всего таких, как самоуправление. Подлинное, активное участие всех категорий трудящихся и всех наций в самоуправлении может быть только на основе равенства. Подлинного, фактического равенства в национальной сфере не достичь, если будет хоть какое-либо ущемление национального чувства. Если национальный язык служит главным образом средством устного общения, а в системе образования — от детского сада до вуза, — в официальной сфере, делопроизводстве господствует русский язык или язык другой, более крупной по численности нации, носитель такого ограниченного в своих функ-

* Текст доклада, зачитанного при открытии V Всесоюзной тюркологической конференции 7 сентября 1988 г. в г. Фрунзе.

циях языка не может воспринимать свой язык равным русскому (или другому крупному национальному языку), как бы ему ни старались внушить это, апеллируя к статьям Конституции СССР и передовицам газет. Осознавая же фактически неравное положение своего языка, человек не может не осознать и неравного положения своей нации и народности.

Иногда необходимость замены национального языка русским (или другим крупным национальным языком) в образовательной сфере (в школе, вузе) стараются объяснить желанием родителей. Однако здесь путают причину со следствием. Подобное желание родителей — это следствие их реального взгляда на вещи, понимания ими того, что подобная замена, несмотря на неудобства морального плана, обеспечит их детям более широкие возможности последующего социального роста.

Словом, пришла пора всем — и руководителям, и общественности, особенно ученым-языковедам, — выяснить реальное, а не воображаемое или желаемое положение дел с национальными — а для нас, тюркологов, прежде всего с тюркскими — языками и определить приоритетные цели и направления нашей работы.

Нам необходимо всемерное, полное, без всяких ограничений развитие национальных языков при максимально возможном их распространении на все функциональные сферы. С другой стороны, на основе всеобщей и подлинной образованности — а образование легче приобретается и прочнее усваивается на родном языке — нам необходимо глубокое и сознательное национально-русское и русско-национальное дву- и многоязычие. Мы верим, что только в такой диалектической взаимосвязи можно решить национально-языковые проблемы в СССР. И мы убеждены, что именно такой подход должен быть закреплен в союзном законе о свободном развитии и равноправном использовании языков народов СССР, о необходимости разработки и всенародного обсуждения которого было заявлено в докладе М. С. Горбачева на июльском (1988 г.) Пленуме ЦК КПСС. Широта спектра социальных функций национального языка нагляднее всего демонстрирует приобщение данной нации ко всем достижениям современной цивилизации и в то же время дает возможность вести хозяйство, развивать науку и культуру как свой собственный, а не чей-то чужой, пусть и не чуждый, не враждебный, образ жизни. Вместе с тем русский язык, освобождаясь от навязываемой ему местными руководителями фактической функции государственного языка — против чего всегда возражал В. И. Ленин [1. С. 295] — останется на единственно приемлемой для него в условиях нашего многонационального союза роли средства межнационального общения, многократно расширяющего канал взаимобмена народов СССР между собой и с внешним миром.

Большой вклад в указанный диалектический процесс — в развитие национальных языков при углублении национально-русского и русско-национального двуязычия — призваны внести специалисты по тюркской **социолингвистике**. К сожалению, до недавнего времени они не были бесстрастными штурманами общества на своем участке лингвистического моря. Судя по их трудам, здесь всегда была только отличная погода и дули лишь попутные ветры, а курс, пролагавшийся не ими, а капитанами, был исключительно верным. Надо кончать с подобной практикой, время и общество требуют этого.

Среди направлений социолингвистической проблематики в истекшее трехлетие, как и в предыдущие годы, наибольшим числом работ представлено терминоведение: это и обобщающий двухтомник по терминологии народов СССР, выполненный под руководством К. М. Мусаева

[2; 3], и аналитическая работа Х. Ф. Исхаковой, исследующая устройство самих систем терминов [4], и монографии, и главным образом сборники статей по отдельным вопросам терминологии азербайджанского [5], казахского [6], киргизского [7], узбекского [8—10], карачаево-балкарского языков [11].

Особо следует отметить отраслевые словари [12] и опыты сведения лингвистической терминологии на материале уйгурского [13] и каракалпакского [14] языков и математической терминологии на материале туркменского языка [15]. Главным недостатком терминологических работ и самой систематизации терминов является, на наш взгляд, отсутствие четких критериев (опирающихся на основательные теоретические положения) оптимизации процессов терминотворчества в условиях различающихся социолингвистических ситуаций.

Нормализационное направление представлено рядом исследований процессов становления норм и правил в области грамматики, лексики, правописания и орфоэпии якутского [16], татарского [17], туркменского [18], каракалпакского [19; 20], тувинского [21] языков, причем особо следует выделить фундаментальный труд П. А. Слепцова. Казахские языковеды выпустили сборник, анализирующий проблемы нормативности устной литературной речи [22].

В русле наиболее важного направления социолингвистики, изучающего языковую ситуацию, за отчетный период вышли три книги: сборник, посвященный развитию общественных функций башкирского языка [23], и обобщающий коллективный труд Института языкознания АН СССР, содержащий как анализ функциональной стороны национальных языков, так и вопросы национально-русского двуязычия [24]; содержательный социолингвистический очерк функционирования тюркских языков на Украине с основательной исторической ретроспективой дал А. Н. Гаркавец [25].

И все же далекой от решения следует считать одну из важнейших задач социолингвистов — разработку более глубоких теоретических основ типологии двуязычия, опирающуюся на реальные фактические данные, отличающиеся чрезвычайной пестротой в условиях многоязычия населения страны, в том числе и на данные, говорящие о негативных сторонах процесса, сказывающихся на судьбах местного языка, и поиск путей преодоления негативных явлений.

За отчетные три года возрос выход изданий, способствующих изучению тюркских языков лицами нетюркской национальности, — учебников, разговорников, словарей; книги вышли более чем по десяти языкам. Однако в большинстве случаев это — переиздания пособий давнего времени. Как временный паллиатив такое приемлемо, но это не освобождает тюркологов от создания и выпуска новых, более современных и совершенных учебников; к тому же необходимы пособия разного рода и назначения, ориентированные на различные образовательные группы населения и разные ступени обучения.

Следует обратить также внимание на необходимость исследований типа предпринятого М. Т. Тагиевым [26]: подход к русскому языку при изучении его в национальной аудитории.

Для придания большей целенаправленности социолингвистическому исследованию проблем двуязычия на местах необходимо предпринять комплексные меры теоретико-прикладного характера, предусмотренные, например, в Казахстане и Киргизии в опубликованных постановлениях ЦК компартий этих республик об улучшении изучения национального и русского языков и о дальнейшем развитии национально-русского и русско-национального двуязычия.

Как бы ни были актуальны и важны в определенные периоды истории социолингвистические труды, языкознание как наука живет и развивается постоянным, все время обновляющимся концептуально изучением **структуры языка в синхронии и диахронии**. Здесь тюркское языкознание за предшествующие три года, как и на предыдущих этапах, имеет и свои несомненные достижения, и просчеты.

Из десятков книг по различным аспектам **фонетического и грамматического строя** языка две [27; 28] являются полными грамматиками азербайджанского и киргизского языков. Обе, к сожалению, откровенно слабы. И если коллективный труд киргизских коллег (руководитель Э. А. Абдуллаев) страдает неровностью, неполнотой своих составных частей, то работа чл.-корр. АН АзССР З. И. Будаговой скользит по поверхности, во многом вторична, неоригинальна, описания целого ряда явлений элементарны и трафаретны. Можно ли считать эти труды, выпущенные под грифом республиканских академий наук, фундаментальными?

Для обобщения морфологических и морфематических (ранговых) закономерностей тюркских языков полезны книги М. Н. Джанашиа и А. Калыбаевой [29; 30].

Фонетические исследования реализовались всего в нескольких работах 1986—1988 гг. Два сборника изданы в Новосибирске [31; 32] учениками В. М. Надеяева. Очень важно, чтобы этот довольно продуктивный, со своеобразным исследовательским почерком сибирский фонетический центр не утратил научного потенциала после смерти своего основателя.

Фундаментальный труд по звуковому строю уйгурского языка с инструментальными и историко-фонологическими исследованиями выпустил Т. Т. Талипов [33]; столь же основательны инструментальные работы А. А. Махмудова по узбекским согласным [34], С. С. Кенесбаевой по арабизмам в казахском языке [35] и А. Джунисбекова по просодике казахского слова [36].

В области морфологии значительное число частных и небольших работ по различным грамматическим категориям представлено прежде всего в многочисленных сборниках, при этом главной трудностью становится поиск названия, камуфлирующего под монотематический опус разнохарактерность и разностильность статей, не сочетающихся часто и по предмету исследования. Так, свыше десятка сборников включают в свое название два таких слова, как «исследования» и «вопросы»: Исследования по киргизскому языкознанию [37], ... по тувинской филологии [38], ... по лексике и грамматике татарского языка [39], ... по лексике и грамматике чувашского языка [40]; Вопросы структуры татарского языка [41], ... чувашской фонетики и морфологии [42], ... теории и истории казахского языка [43], ... восточной филологии [44]; актуальные вопросы морфологии азербайджанского языка [45], актуальные вопросы узбекского языкознания [46], актуальные вопросы языков народностей Севера [47], история и актуальные вопросы якутского языка [48]. Во многих из указанных сборников, как и в ряде других [49—52], публикуются рядом статьи не только по разным уровням языка, но и в разных планах — синхронном и диахронном. Жанровая смешанность многих лингвистических сборников — совершенно понятное и практически оправданное явление: в таком виде они и быстрее формируются, и лучше расходятся, и полнее и оперативнее удовлетворяют потребности научных работников и аспирантов в публикациях. Может быть, пора перестать камуфлировать их под тематические? Может быть, так они скорее найдут своего читателя?

Среди индивидуальных монографий следует выделить книги М. В. Зайнуллина [53] и Н. Е. Петрова [54], посвященные категории модальности, причем серия исследований модальных отношений в якутском языке Н. Е. Петрова беспрецедентна для тюркологии по своей обширности и детализации. Ряд монографий по частным морфологическим категориям выпущен по казахскому (А. Азлаков) [55], якутскому (Ю. И. Васильев) [56], карачаево-балкарскому (Л. Ж. Жабелова) [57], туркменскому (С. Байлыев, А. Гурдов) [58—60] языкам.

Проблемы **синтаксиса** последние два десятилетия находятся в центре внимания лингвистов, поскольку на этом структурном уровне осуществляется центральный процесс перехода от структуры языка к передаче смысла. В общем виде создание современной синтаксической теории и на ее базе — конкретных синтаксических описаний происходило под знаком выяснения того, как структура языка откликеается на функциональные задачи, вырабатывая семантические типы конструкций с закреплением за ними стандартизирующихся формальных средств. В русле современной синтаксической теории работает все большее число тюркологов теперь уже во многих республиканских центрах — Баку, Ташкенте, Самарканде, Нальчике и других городах. В этой связи особо следует отметить новосибирскую школу М. И. Черемисиной [61—63], работающую продуктивно и целеустремленно. Особенно отрадно, что материалом для новосибирских синтаксистов в большинстве своем служат языки средних и малых по численности тюркских народов, не избалованные вниманием большой науки. Помимо названных сборников, следует указать на монографию Л. А. Шаминой, посвященную тувинским сложновременным конструкциям [64].

Элементы традиционного и нового подходов можно найти в монографии С. Ж. Мусаева [65]. Однако говорить, что все труды советских тюркологов-синтаксистов идут в ногу со временем, — значит, выдавать желаемое за действительное. Например, в учебниках А. З. Абдуллаева по азербайджанскому языку или А. Г. Гулямова и М. А. Аскаровой по узбекскому, вышедших в 1987 г. [66; 67], содержатся почти в неизменном виде концепции авторов, которые они выдвигали в начале 50-х годов, на заре своей научной карьеры. Во многих монографиях и статьях в сборниках [68—71] производятся определенные терминологические замены, призванные осовременить метаязык описания, без серьезных коррекций концептуального плана.

Тюркская лексикография в 1986—1987 гг. пополнилась рядом важных изданий, но слишком долго готовятся и издаются у нас словари. Тому примеры — большие толковые словари. Издание словаря казахского языка [72] и азербайджанского [73] тянулось 20 и более лет. Если названные словари многотомные, то толковый словарь киргизского языка — всего в двух томах — выпускается в такие же сроки. Еще меньше везет диалектологическим словарям, например, словарю башкирских говоров: в 1967 г. был выпущен 1-й том, через 20 лет — 3-й [74]. Прошел было слух, что выходит 2-й том сильно задерживающегося киргизского диалектологического словаря, но что-то пока его не видно. То же можно сказать и по поводу словаря якутских говоров. Причем обидно, что эти издания низводятся до положения книг второго сорта: они низкого полиграфического качества, до обидного малы их тиражи.

Из других словарей отметим изданный в Ереване азербайджанско-армянский словарь [75] и второе, более объемное, издание казахско-русского словаря Х. Х. Махмудова и Г. Г. Мусабаева 50-х годов [76], выпуск которого не снимает с повестки дня вопрос создания большого и

добротного казахско-русского словаря. К сожалению, мало работ, обобщающих опыт национально-тюркской лексикографии, без которых трудно управлять процессом повышения качества словаря. Здесь мы можем назвать лишь монографию С. Алтаева по туркменской лексикографии [77].

Активно разрабатываются в советской тюркологии проблемы тюркского ономастикона. В 1986 г. во Фрунзе состоялась I Всесоюзная конференция по тюркской ономастике [78], в 1987 г. в Баку прошла конференция по азербайджанской ономастике [79]; выпущен ряд книг и сборников [80—82]; много статей по ономастике вошло в смешанные (грамматика и лексикология, диалектология) сборники.

В качестве практической рекомендации необходимо предложить идею срочного упорядочить ономастические наименования по всем тюркским регионам, а также больше уделять внимания теории и методике предмета.

В области **лексикологии** заметным явлением можно считать книги Б. И. Татаринцева и К. Ш. Хусаинова. В первой на богатом фактическом материале тувинского лексикона толкуются сложные в теоретическом плане проблемы разграничения оттенков значения, значений омонимов [83]; кстати, словарь омонимов башкирского языка М. Ахтямова [84] рядом неудовлетворительных решений показал практическую актуальность этих вопросов [85]. К. Ш. Хусаинов анализирует морфологию и семантику имитативов казахского языка [86]. Обе книги имеют общетюркологическое значение, как и небольшая брошюра Э. В. Мамулии, посвященная статусу фразеологизма в уровневой системе языка [87]. Положительной оценки заслуживает попытка М. Турсунпулатова проанализировать узбекскую разговорную лексику [88]. Продолжалось изучение и заимствованной лексики в различных тюркских языках [89; 90].

Из обобщающих работ по **диалектам тюркских языков**, вышедших в эти годы, отметим сравнительное исследование говоров татар-крещен Ф. С. Баязитовой [91], «Тувинскую диалектологию» Ш. Ч. Сата [92] и монографическое описание туркменского диалекта арабачи Н. Мавнева [93]. Детальному описанию грамматического строя в междиалектно-сравнительном плане посвящены книги А. Нурмагамбетова (казахский язык) [94], Т. Юлдашева (узбекский язык) [95], Ф. Ю. Юсупова (татарский язык) [96], М. Исламова (азербайджанский язык) [97]. В Баку, Уфе и Новосибирске вышли три сборника статей [98—100] по диалектологии и ареалогии—отрасли, по которой монографические исследования в последние годы не выходили.

Работы **сравнительно-исторического плана** заметно представлены в публикациях 1986—1988 гг. Вышли два тома издаваемой Институтом языкознания АН СССР в Москве (руководитель—чл.-корр. АН СССР Э. Р. Тенишев) коллективной «Сравнительно-исторической грамматики тюркских языков»: в 1986 г. — «Синтаксис», в 1988 г. — «Морфология» (авт. коллектив: Э. Р. Тенишев, Б. А. Серебренников, Н. А. Баскаков, Г. Ф. Благова, Н. З. Гаджиева, А. А. Юлдашев, И. В. Кормушин, К. М. Мусаев, Л. А. Покровская, В. Д. Аракин, Ф. Д. Ашнин, Л. С. Левитская, А. А. Чеченов) [101]. А. М. Щербак выпустил очередной—третий—том своей сравнительной морфологии тюркских языков [102]. Вторым изданием вышла сравнительно-историческая грамматика Б. А. Серебренникова и Н. З. Гаджиевой [103]. В Баку выпущена вторая часть — морфология — сравнительной грамматики языков огузской группы [104].

Если тома «Сравнительно-исторической грамматики» выходили с двухлетней периодичностью (1984 — фонетика, 1986 — синтаксис, 1988 — морфология), то этимологический словарь тюркских языков

печатается с очень большими интервалами: после 3-го тома, вышедшего в 1980 г., последовал затяжной перерыв, заполненный изданием брошюры с материалами из последующих томов [105]. А ведь невыход общетюркского словаря задерживает успешную разработку этимологических словарей отдельных тюркских языков, работа над которыми ведется в ряде республик [106; 107]. Глубокий зондаж пратюркского корнеслова проводится в исследованиях А. Т. Кайдарова [108] и Е. З. Кажобекова [109]. Проблемы исторической лексикологии от пратюркского состояния к историческим языкам рассматриваются в сборнике чувашских языковедов [110] и в книге Э. Ф. Ишбердина, который расчленил лексику башкирского языка в зависимости от хронологии и источников формирования [111]. В книге В. Л. Гукасяна и В. И. Асланова, обобщившей их прежние публикации, авторы обращаются только к лексике дописьменного периода [112]. Г. В. Попов анализирует так называемую лексику неизвестного происхождения якутского языка [113].

Все же основную массу публикаций **исторического направления** в тюркском языкознании, особенно если брать не только истекшее трехлетие, составляют работы не сравнительно-исторического реконструктивного плана, а конкретные исследования морфологии и лексики (гораздо реже — синтаксиса) реально-исторических языков, зафиксированных в памятниках различными видами тюркской письменности.

По морфологии глагола в языке рунических памятников опубликовано исследование И. Н. Шервашидзе [114]. Г. Айдаров продолжает популяризовать тюркскую рунику в Казахстане [115]. Древнеосманская морфология в теоретически обновленном оформлении представлена в монографии В. Г. Гузева [116]. Ф. С. Хакимзянов в новой книге о языке волжско-булгарской эпиграфики продолжил поиски объективных данных для компромисса по булгарской проблеме [117].

По средневековым кыпчакским языкам вышло обобщающее исследование А. Н. Гаркавца [118], в Ереване издан тюрко-армянский словарь Е. Карнеци [119]. По восточно-тюркским источникам коллектив под руководством Ш. Ш. Шукурова издал добротное описание морфологии [120].

Однако и в последнем из названных трудов, и в некоторых других монографиях, например, основательном очерке Х. Хамидова по каракалпакскому языку предновейшего времени [121], в фундированном учебнике для вузов Т. Гаджиева по истории азербайджанского литературного языка [122], в ряде сборников [123—127], скрытно или явно, в большей или меньшей степени затушевывается фундаментальное различие двух взаимопереплетающихся в источниках, но все же принципиально различных научных областей — истории общенародного (народно-разговорного) языка и истории языка литературного, который может не быть гомогенным в какой-то части — небольшой или, напротив, значительной — своей структуры с языком общенародным. Оживленная дискуссия по этой проблеме велась на прошлой конференции и продолжалась на симпозиуме в Москве в феврале 1987 г. [128—131].

То же можно сказать и об очень небольшом числе работ по историческому синтаксису, авторы которых должны были бы не только принять во внимание указанный фактор дивергентности, но и учитывать воздействие синтаксиса литературной речи на изменения синтаксической структуры общенародного языка. Небольшая монография Е. Агманова под слишком общим названием «Исторический синтаксис казахского языка» [132] обращена только к словосочетанию, да и то не ко всем его типам, а хронологически привязывается к древним тюркским памятникам. Книга киргизских языковедов Б. Тойчубековой и М. Мурат-

алиева «Развитие синтаксического строя киргизского литературного языка в советское время» [133] является, по-видимому, первой попыткой разработки проблем исторического синтаксиса с элементами социолингвистики для выявления изменений в структуре национального языка в связи со сдвигами, происшедшими в результате взаимовлияний, хотя книга, к сожалению, грешит компилятивностью — механическим переносом схем с других (иносистемных) языков.

Тюркская текстология в самом широком понимании этого термина, несмотря на обширные задачи, стоящие перед ней [134; 135], очень робко исследуется в работах советских тюркологов. Кроме ряда статей в уже названных смешанных сборниках, в периодической печати, а также нескольких монографий по достаточно частным темам [136; 137], в истекший период не опубликовано сколько-нибудь серьезных исследований по текстологии.

На необходимость текстологического анализа при изучении рукописных фольклорных материалов, прежде всего эпоса «Манас», содержащих богатейшие языковые данные, указывается специалистами уже давно и настойчиво.

Осуществление этого стало бы началом конкретных действий по перестройке гуманитарных знаний, переходом к более высокому этапу культуры научных исследований.

Отрадное явление в тюркологии последних лет — нарастающий интерес к применению ЭВМ в лингвистических исследованиях. Появился ряд новых публикаций — С. А. Мухамедова совместно с Р. Г. Пиотровским [138], А. Х. Джубанова [139], Т. Садыкова [140]. Поставлен вопрос о создании машинного фонда тюркских языков, — в рамках XIV пленума СКТ в апреле 1988 г. состоялось совещание на эту тему; основной доклад на нем В. Г. Гузева, Р. Г. Пиотровского и А. М. Щербака опубликован в печати [141]. Дальнейшее развитие этого важного и перспективного направления в организации научных исследований будет зависеть не только от оснащения наших НИИ и университетов электронной техникой, но и от настойчивого труда многих энтузиастов этого дела, а также от уровня координации и кооперации работ во всесоюзном масштабе.

Работы, характеризующие современное состояние тюркологии в различных центрах [142], историю тюркологии, деятельность ее выдающихся представителей — таких, как Мирза Казем-Бек [143], Чокан Валиханов [144], Н. И. Ашмарин и другие чувашеведы [145], И. А. Батманов [146], А. Н. Кононов [147; 148], — украсили **историко-библиографическую отрасль** нашей науки. Сборниками избранных трудов отмечены юбилей С. К. Кенесбаева [149], М. Б. Балакаева [150], Т. Р. Кордабаева [151], М. З. Закиева [152].

Следует всячески одобрить большую работу, проделанную издательством «Прогресс» и главной редакцией восточной литературы издательства «Наука», которые по инициативе А. Н. Барулина и С. Г. Кляшторного издали два сборника работ зарубежных тюркологов в переводе на русский язык. Первый, выпущенный «Прогрессом» в серии «Новое в зарубежной лингвистике», содержит статьи структуралистского и генеративистского направлений по фонологии, морфологии и семантике турецкого языка [153]. Второй включает интереснейшие труды по древнетюркской филологии и синотюркике Паллиблэнка, Клосона, Дёрфера и других известных западных тюркологов [154]. Необходимо, чтобы этот удачный опыт был продолжен.

Если указанные сборники знакомят широкие круги советских тюркологов с зарубежными коллегами заочно, то проведенная в 1986 г. в Таш-

кенте — впервые в Советском Союзе — очередная, XXIX, сессия ПИАК предоставила широкие возможности очного знакомства, причем большая группа тюркологов из всех уголков Союза получила трибуну авторитетного международного форума [155]. Следует положительно оценить опыт массовой публикации журналом «Советская тюркология» материалов данной сессии ПИАК (1987. № 1—5).

Останавливаясь на вопросах контактов советских тюркологов с их зарубежными коллегами, следует сказать, что они, эти контакты, все еще находятся в неудовлетворительном состоянии. Во-первых, очень ограничены выезды советских тюркологов за рубеж — в тюркологические центры Японии, КНР, США, ФРГ, Франции и Турции, в социалистические страны — Польшу, Венгрию, Монголию и другие — для участия в экспедициях, конгрессах, симпозиумах, для чтения лекций в университетах, работы в библиотеках и архивах этих стран; немалые пока трудности, особенно на местах, представляет приглашение зарубежных коллег; несколько ухудшился обмен литературой. Одним из путей расширения интернациональных научных связей, мы считаем, явится придание впредь всесоюзной тюркологической конференции статуса международной.

Если быть самокритичными и объективными, то наши достижения более чем скромны; несмотря на то, что тюркское языкознание получило довольно масштабное развитие и им занимается много специалистов соответствующих центров в Москве и Ленинграде, столицах союзных и автономных республик и других городах страны, теоретический уровень исследований неодинаков. С этим же, к сожалению, коррелирует неодинаковый и во многих случаях неудовлетворительный уровень подготовки тюркологических кадров. Помимо последовательных и настойчивых усилий республиканских научно-исследовательских учреждений и вузов необходимо, вероятно, шире практиковать стажировку студентов и выпускников вузов из республик при академических институтах и университетах Москвы и Ленинграда. Следует, по-видимому, теснее координировать и научную деятельность педагогов вузов с работой научно-исследовательских институтов, переходя к планам прямого сотрудничества в единых темах. Основной же качественный скачок можно ожидать в случае, если, во-первых, удастся выделить ряд приоритетных направлений и сформулировать конкретные темы трудов фундаментального характера, способных определить высокий уровень теоретической мысли и индуцировать новые идеи, и, во-вторых, если удастся в то же время сосредоточить на разработке таких тем высококвалифицированные кадры из разных центров страны. Координация и организация именно подобного рода общесоюзных программ должны составить, на наш взгляд, основное содержание деятельности Советского комитета тюркологов.

ЛИТЕРАТУРА

1. Ленин В. И. Нужен ли обязательный государственный язык? // Полн. собр. соч. Т. 24.
2. Развитие терминологии на языках союзных республик СССР: Общая проблематика. Терминология на русском, украинском и белорусском языках. М., 1986.
3. Развитие терминологии на языках союзных республик СССР: Терминология на узбекском, казахском, грузинском, азербайджанском, литовском, молдавском, латышском, киргизском, таджикском, армянском, туркменском и эстонском языках. М., 1987.
4. Исхакова Х. Ф. Структуры терминологических систем: Тюркские языки. М., 1987.
5. Вопросы терминологии. Баку, 1987.
6. Проблемы казахской терминологии. Алма-Ата, 1986.
7. Вопросы киргизской терминологии. Фрунзе, 1986.

8. Терминология узбекского языка и перспективы ее развития: Материалы I Респ. терминолог. конф. (Ташкент, 17 апр. 1986 г.): Бюлл. Ташкент, 1986.
9. Лексические варианты в узбекской терминологии. Ташкент, 1986.
10. *Турсунова Т. Т.* Исследования лексико-грамматических особенностей слов-терминов прикладного искусства в узбекском языке. Ташкент, 1987.
11. *Отаров И. М.* Очерки карачаево-балкарской терминологии. Нальчик, 1987.
12. *Мамбетов С.* Русско-киргизский словарь терминов клинической медицины. Фрунзе, 1987.
13. *Кайдаров А.-А. Т., Баратов Ш.* Русско-уйгурский словарь лингвистических терминов. Алма-Ата, 1987.
14. *Пирниязов К.* Лингвистическая терминология каракалпакского языка. Нукус, 1987.
15. *Сейитмуратов С., Каррыев К.* Русско-туркменский словарь математических терминов. Ашхабад, 1987.
16. *Слепцов П. А.* Якутский литературный язык: Истоки, становление норм. Новосибирск, 1986.
17. Нормативность и вариативность в татарском языке. Казань, 1987.
18. *Тачмурадов Т.* Формирование пунктуационных норм туркменского литературного языка. Ашхабад, 1987.
19. *Давенов Е., Давлетов М.* Каракалпакский язык: Синтаксис, развитие речи, стилистика и культура речи. Нукус, 1987.
20. *Насыров Д. С.* Становление и развитие каракалпакской письменности. Нукус, 1987.
21. Правила тувинской орфографии и пунктуации. Кызыл, 1986.
22. Устная форма казахского литературного языка. Алма-Ата, 1987.
23. Развитие общественных функций башкирского литературного языка. Уфа, 1987.
24. Взаимовлияние и взаимообогащение языков народов СССР. М., 1987.
25. *Гаркавец А. Н.* Тюркские языки на Украине. Киев, 1988.
26. *Тагиев М. Т.* Лингвистические проблемы изучения русского языка как языка межнационального общения: словоизменение и конструирование предложения. Баку, 1986.
27. Грамматика киргизского литературного языка. Фрунзе, 1987. Ч. I: Фонетика и морфология.
28. *Будагова З. И.* Основы грамматики современного азербайджанского языка: Морфология. Баку, 1987.
29. *Джанашиа Н. Н.* Турецкий язык: Грамматические таблицы и парадигмы. Тбилиси, 1987.
30. *Калыбаева А., Оралбаева Н.* Морфемика казахского языка. Алма-Ата, 1986.
31. Фонетические структуры в сибирских языках. Новосибирск, 1986.
32. Фонетика языков Сибири и сопредельных регионов. Новосибирск, 1986.
33. *Талипов Т. Т.* Фонетика уйгурского языка. Алма-Ата, 1987.
34. *Махмудов А. А.* Согласные узбекского литературного языка. Ташкент, 1986.
35. *Кенесбаева С. С.* Фонетические модели арабизмов в казахском языке. Алма-Ата, 1987.
36. *Джунисбеков А.* Просодика слова в казахском языке. Алма-Ата, 1987.
37. Исследования по киргизскому языкознанию. Фрунзе, 1987.
38. Исследования по тувинской филологии. Кызыл, 1986 (1987).
39. Исследования по лексике и грамматике татарского языка. Казань, 1986.
40. Исследования по лексике и грамматике современного чувашского языка. Чебоксары, 1986.
41. Вопросы структуры татарского языка. Казань, 1986.
42. Вопросы чувашской фонетики и морфологии. Чебоксары, 1986.
43. Вопросы теории и истории казахского языка. Алма-Ата, 1986.
44. Вопросы восточной филологии. Баку, 1986.
45. Актуальные вопросы морфологии азербайджанского языка. Баку, 1987.
46. Актуальные вопросы узбекского языкознания. Ташкент, 1986.
47. Актуальные вопросы языков народностей Севера. Якутск, 1986.
48. Якутский язык: История и актуальные вопросы. Якутск, 1986.
49. Языки Сибири и Монголии. Новосибирск, 1987.
50. Языки народов севера Сибири. Новосибирск, 1986.
51. Научно-теоретическая конференция по вопросам азербайджанского языкознания (Баку, 1987): Тез. докл. Баку, 1987.
52. Проблемы семантики и стилистики карачаево-балкарского языка. Нальчик, 1987.
53. *Зайнуллин М. В.* Модальность как функционально-семантическая категория: На материале башкирского языка. Саратов: Изд-во Сарат. ун-та, 1986.
54. *Петров Н. Е.* Модальные сочетания в якутском языке. Якутск, 1988.
55. *Аблаков А.* Управление глаголов в казахском языке. Алма-Ата, 1986.

56. *Васильев Ю. И.* Способы выражения сравнения в якутском языке. Новосибирск, 1986.
57. *Жабелова Л. Ж.* Сложные имена существительные в современном карачаево-балкарском языке. Нальчик, 1986.
58. *Байлыев С.* Категория падежа в туркменском языке. Ашхабад, 1987.
59. *Гурдов А.* Структура и семантика грамматических форм английского и туркменского языков. Ашхабад, 1986.
60. *Гурдов А.* Принципы и методы научных исследований по филологии. Ашхабад, 1987.
61. *Черемисина М. И., Колосова Т. А.* Очерки по теории сложного предложения. Новосибирск, 1987.
62. Структурные типы синтетических полипредикативных конструкций в языках разных систем. Новосибирск, 1986.
63. Показатели связи в сложном предложении. Новосибирск, 1987.
64. *Шамина Л. А.* Временные полипредикативные конструкции тувинского языка. Новосибирск, 1987.
65. *Мусаев С. Ж.* Парадигматические типы причастных конструкций в киргизском языке. Фрунзе, 1987.
66. *Абдуллаев А. З.* Актуальные вопросы синтаксиса: (Разбор сложноподчиненного предложения): Учеб. пособие. Баку, 1987. На азерб. яз.
67. *Гулямов А. Г., Аскарова М. А.* Современный узбекский литературный язык: Синтаксис: Учеб. пособие. 3-е изд. Ташкент, 1987.
68. Синтаксические конструкции в азербайджанском языке. Баку, 1987.
69. Современный каракалпакский язык: Синтаксис. Нукус, 1986. На каракалп. яз.
70. *Дауенов Е. Д.* Типы и способы образования глагольных словосочетаний в каракалпакском языке. Нукус, 1986.
71. *Абдуллаев А.* Анализ синтаксических способов и средств выражения экспрессивности в узбекском языке. Ташкент, 1987.
72. Толковый словарь казахского языка. Алма-Ата, 1986. Т. 9: Т—У; Т. 10: Ч—Я.
73. Толковый словарь азербайджанского языка. Баку, 1987. Т. 4.
74. Словарь башкирских говоров/Ред. Н. Х. Максютова: В 3 т. Уфа, 1967. Т. 3: Западный диалект. 1987.
75. *Басрамян Р. А.* Азербайджанско-армянский словарь. Ереван, 1987.
76. *Махмудов Х. Х., Мусабаев Г. Г.* Казахско-русский словарь. 2-е изд. Алма-Ата, 1987.
77. *Алтаев С.* Проблемы туркменской лексикографии. Ашхабад, 1986.
78. Программа 1-й Всесоюзной конференции по тюркской ономастике, 23—25 сент. 1985 г. Фрунзе: Илим, 1985.
79. Конференция по проблемам азербайджанской ономастики: Материалы конф. Баку, 1987. На азерб. яз.
80. *Абдуллаев Б. Т.* Толковый словарь азербайджанских личных имен. Баку, 1985.
81. *Курбанов А. М.* Азербайджанская ономастика. Баку, 1986. На азерб. яз.
82. Вопросы ономастики Казахстана. Алма-Ата, 1986.
83. *Татаринцев Б. И.* Смысловые связи и отношения слов в тувинском языке. М., 1987.
84. *Ахтямов М. Х.* Словарь омонимов: Пособие для учителей. Уфа, 1986. На башк. яз.
85. *Латыпов Л. Ю.* [Рец.] М. Х. Әхтәмов. Омонимдар һүзлегә. // Сов. тюркология. 1987. № 6.
86. *Хусаинов К. Ш.* Звукоизобразительность в казахском языке. Алма-Ата, 1988.
87. *Мамулия Э. В.* О соотносительности фразеологизма со словом в современном тюркском литературном языке. Тбилиси, 1987.
88. *Турсунпулатов М.* Лексика узбекской разговорной речи. Ташкент, 1986.
89. *Джуманиязов А.* Германские заимствования в современном узбекском языке. Ташкент, 1987.
90. *Кошанов К. М.* Русские заимствования в каракалпакском языке. Нукус, 1988.
91. *Баязитова Ф. С.* Говоры татар-кряшен в сравнительном освещении. М., 1986.
92. *Сат Ш. Ч.* Тувинская диалектология: Учеб. пособие. Кызыл, 1987. На тув. яз.
93. *Маанев Н.* Диалект арабчи туркменского языка. Ашхабад, 1987.
94. *Нурмагамбетов А.* Грамматика казахских говоров. Алма-Ата, 1986.
95. *Юлдашев Т.* Морфология узбекских говоров Таджикистана: (Глагол). Ташкент, 1986.
96. *Юсупов Ф. Ю.* Изучение татарского глагола. Казань, 1986.
97. *Исламов М.* Местоимения в тюркских языках: на основе диалектных материалов азербайджанского языка. Баку, 1986. На азерб. яз.
98. Проблемы истории и диалектологии тюркских языков. Баку. 1986. На азерб. яз.
99. Проблемы диалектологии и лингвострановедения тюркских языков. Уфа, 1986.
100. Диалектология и ареальная лингвистика тюркских языков Сибири. Новосибирск, 1986.

101. Гаджиева Н. З., Серебренников Б. А. Сравнительно-историческая грамматика тюркских языков: Синтаксис. М., 1986.
[Колл. авт.]. Сравнительно-историческая грамматика тюркских языков: Морфология. М., 1988.
102. Шербак А. М. Очерки по сравнительной морфологии тюркских языков: (Наречие, служебные части речи, изобразительные слова). Л., 1987.
103. Серебренников Б. А., Гаджиева Н. З. Сравнительно-историческая грамматика тюркских языков. 2-е изд., испр. и доп. М., 1986.
104. Сравнительная грамматика огузской группы тюркских языков. Баку, 1986. Ч. 2: Морфология. На азерб. яз.
105. Теория и практика этимологических исследований. М., 1988.
106. Проблемы составления этимологического словаря отдельного языка. Чебоксары, 1986.
107. Этимологические и историко-морфологические исследования тюркских языков. Баку, 1987. На азерб. яз.
108. Кайдаров А. Т. Структура односложных корней и основ в казахском языке. Алма-Ата, 1986.
109. Кажобеков Е. З. Глагольно-именная корреляция гомогенных корней в тюркских языках: (Явление синкретизма). Алма-Ата, 1986.
110. Чувашский язык: Проблемы исторической лексикологии. Чебоксары, 1986.
111. Ишбердин Э. Ф. Историческое развитие лексики башкирского языка. М., 1986.
112. Гукасян В. Л., Асланов В. И. Исследования по истории азербайджанского языка дописьменного периода. Баку, 1986. На азерб. яз.
113. Попов Г. В. Слова «неизвестного происхождения» якутского языка: (Сравнительно-ист. исслед.). Якутск, 1986.
114. Шервашидзе И. Н. Формы глагола в языке тюркских рунических надписей. Тбилиси, 1986.
115. Айдаров Г. Язык памятников древнетюркской письменности V—VIII вв. Алма-Ата: Мектеп, 1986.
116. Гузев В. Г. Очерки по теории тюркского словоизменения: Имя: (На материале староанатолийско-тюркского языка). Л.: Изд-во ЛГУ, 1987.
117. Хакимзянов Ф. С. Эпиграфические памятники Волжской Булгарии и их язык. М., 1987.
118. Гаркавец А. Н. Кыпчакские языки: Куманский и армяно-кыпчакский. Алма-Ата, 1987.
119. Карнеци Е. Тюркско-армянский словарь/Подгот. текста, предисл. и коммент. Б. Л. Чукасяна. Ереван, 1986.
120. Язык тюркских литературных памятников XIII—XIV веков: Морфология. Ташкент, 1986. На узб. яз.
121. Хамидов Х. Каракалпакский язык XIX—нач. XX в. по данным письменных памятников. Ташкент, 1986.
122. Гаджиев Т. История азербайджанского литературного языка: Учебник для вузов. Баку, 1987. Ч. 2. На азерб. яз.
123. Вопросы теории и истории казахского языка. Алма-Ата, 1986.
124. Проблемы казахского литературного языка. Алма-Ата, 1987.
125. Формирование и функционирование татарского языка. Казань, 1986.
126. Анализ текстов по истории татарского литературного языка. Казань, 1987.
127. Истоки татарского литературного языка. Казань, 1988.
128. Тенишев Э. Р. Принципы составления исторических грамматик и историй литературных тюркских языков//Сов. тюркология. 1988. № 1.
129. Благова Г. Ф. Соотношение «истории литературного языка» и «исторической грамматики» в исследовании средневекового тюркоязычного памятника//Там же.
130. Насилов Д. М. Некоторые проблемы тюркской диахронической морфологии и языковые особенности древнетюркских памятников//Там же. № 2.
131. Галаятдинов И. Г. История литературного языка как саморазвитие системы: (общеметодологические проблемы)//Там же.
132. Агманов Е. Исторический синтаксис казахского языка. Алма-Ата, 1986.
133. Тойчубекова Б., Мураталиев М. Развитие синтаксического строя киргизского литературного языка в советское время: (Простые и сложные предложения). Фрунзе, 1987.
134. Тюркское языкознание за семьдесят лет//Сов. тюркология. 1987. № 5.
135. Фазылов Э. И. Тюркская текстология: итоги и перспективы//Там же.
136. Шамсиев П. Ш. Исследования по узбекской текстологии. Ташкент, 1986.
137. Юсупов К. Лексико-семантические и стилистические особенности узбекского литературного языка: (На материале печати первой половины XX в.). Ташкент, 1986.
138. Мухамедов С. А., Пиотровский Р. Г. Инженерная лингвистика и опыт системно-статистического исследования узбекских текстов. Ташкент, 1986.
139. Джубанов А. Х. Квантитативная структура казахского текста: (Опыт лингвистического анализа на ЭВМ). Алма-Ата, 1987.
140. Садыков Т. Проблемы моделирования тюркской морфологии. Фрунзе, 1987.

141. Гузев В. Г., Пиотровский Р. Г., Щербак А. М. О создании машинного фонда тюркских языков//Сов. тюркология. 1988. № 2.
142. Орузбаева Б. О. Современное состояние и перспективы развития тюркологии в Киргизии: Вопр. лингвистики//Тез. докл. 32-го Междунар. конгр. по азиат. и сев.-афр. исслед. (Гамбург, 1986). М., 1986.
143. Кулиев В. Мирза Казем-Бек. Баку, 1987. На азерб. яз.
144. Сатнаев Ш. К. Чокан Валиханов—филолог. Алма-Ата, 1987.
145. Федотов М. Р. Исследователи чувашского языка. Чебоксары, 1987.
146. Тюркологические исследования. Фрунзе, 1986.
147. Кучкартаев И. К. Большой друг Узбекистана: (Жизнь и деятельность акад. А. Н. Кононова). Ташкент, 1986.
148. Turgologica. 1986: К 80-летию акад. А. Н. Кононова. Л., 1986.
149. Кенесбаев С. К. Исследования по казахскому языкознанию. Алма-Ата, 1987.
150. Балакаев М. Б. Казахский литературный язык. Алма-Ата, 1987.
151. Кордабаев Т. Р. Пути становления и развития казахского языкознания. Алма-Ата, 1987.
152. Закиев М. З. Проблемы языка и происхождения волжских татар. Казань, 1986.
153. Новое в зарубежной лингвистике. М., 1987. Вып. 19: Проблемы современной тюркологии.
154. Зарубежная тюркология/Пер. с англ., нем., фр. М., 1986.
155. Историко-культурные контакты народов алтайской языковой общности: Тез. докл. 29-й сессии Постоянной междунар. алтаист. конф. (PIAC). Ташкент, сент. 1986. М., 1986. Т. 1: История. Литература. Искусство; Т. 2: Лингвистика. М., 1986.
-

СТРУКТУРА И ИСТОРИЯ ЯЗЫКА

*Памяти Андрея Николаевича Кононова,
Георгия Владимировича Степанова*

Г. Ф. БЛАГОВА

ЯЗЫКОВОЕ ВЫРАЖЕНИЕ ОТНОШЕНИЯ «АВТОР—АДРЕСАТ» В «БАБУР-НАМЕ» (К ФУНКЦИОНАЛЬНОМУ ИЗУЧЕНИЮ ЧАГАТАЙСКОГО ЛИТЕРАТУРНОГО ЯЗЫКА)

В настоящее время во всех частных языкознаниях, включая тюркское, история литературного языка признается самостоятельной дисциплиной, принципиально отличной от истории языка вообще. Составление истории любого литературного старописьменного тюркского языка на данном этапе опирается на описания языка средневековых памятников. Существующие описания многочисленны, но из-за ориентированности на анализ внутренней структуры языка памятника (а зачастую — на констатацию его языковых особенностей) они оказываются малоинформативными в отношении истории литературного языка. Вопросы лингвистики текста в тюркском языкознании практически еще не поднимались.

Между тем при анализе языка средневековых тюркских памятников сама специфика объекта изучения требует внимания не только к его внутренней структуре, но и к внемарксистическим аспектам литературного языка. В. В. Виноградов в русистике [1], Г. В. Степанов в романистике [2] продемонстрировали результаты внешних воздействий на внутреннюю структуру языка. Оба ученых при лингвистическом анализе художественного текста главным объектом изучения считали речевую реализацию, связанную с личностью автора. Г. В. Степанов при этом настаивал на необходимости учета соотношения литературоведческих и социально-культурных по своей природе категорий «автор—адресат» [2. С. 106—124], констатируя, что лингвистика текста сделала наиболее заметное движение в сторону литературоведческих проблем [2. С. 133]. На языке языкознания и литературоведения развивается лингвостилистика.

«Понятие стиля, — писал В. В. Виноградов, — является везде и проникает всюду, где складывается представление об индивидуальной или индивидуализированной системе средств выражения и изображения, выразительности и изобразительности, сопоставленной или противопоставленной другим однородным системам» [1. С. 8]. В. В. Виноградов указывал на соотнесенность понятия стиля «с субъектом, формой выражения внутренних индивидуальных свойств и творческих возможностей которого и является соответствующий стиль» [1. С. 8]; изучение специфических языковых средств, которые служат для передачи в произведении авторской позиции («стилистика текста»), в настоящее время включается в число задач лингвистики текста (применительно к художественным текстам). Вместе с тем важное значение В. В. Виноградов придавал связи понятия стиля с самой структурой языка, по-

8 9

сколькx подобное понимание стиля значимо как для истории литературных языков, так и для глубокого, дифференцированного понимания системы современного языка [1. С. 8]. Тем самым преодолевается «односторонний младограмматический подход к литературному языку как к языку искусственному и потому недостаточно отражающему чисто языковые законы развития языка» [3. С. 3].

Для изучения речевых последовательностей в индивидуальном словесном творчестве (т. е. изучения текстов) оказались необходимы методы, отличающиеся от тех, которые применяются при анализе языка (внутренней структуры). В числе их — функциональный подход к изучению текста, подразумевающий учет его содержания, а также приемы лингвостилистики.

В тюркологии функциональный подход к лингвистическому анализу средневековых тюркских памятников стал применяться с середины 70-х годов; тогда же появились первые попытки осмыслить наблюдения в области тюркской лингвостилистики. Активным застрельщиком функциональных лингвисторических исследований является Э. Р. Тенишев [4]. Однако при лингвистическом изучении тюркских памятников вопросы «единства выражения и убеждения» — соотношения «автор и адресат» [2. С. 106] до настоящего времени внимания тюркологов не привлекали.

В настоящей статье функциональный подход к изучению языка сочинения рубежа XV—XVI вв. «Бабур-наме» [5] применяется при сугубом внимании к соотношению «автор — адресат». Исследование по такой методике в данном случае оказалось тем более необходимым, что структурное описание языка «Бабур-наме» подтверждает широко распространенное мнение о простоте и доступности языка этого объемистого прозаического сочинения, однако само по себе еще не позволяет дать адекватное объяснение факту: «почему так сказано, а не иначе» [2. С. 126].

Между тем использование данной методики открывает перспективу для исследования комплекса вопросов, связанных с соотношением языка текста и шире — языка писателя с историей литературного языка, во-первых, во-вторых — с исторической грамматикой литературного языка.

Применительно к «Бабур-наме» названная методика попутно позволяет предложить еще и решение многолетнего спора о жанре сочинения («мемуары это или дневник?»).

Нам представляется, что, по замыслу его автора, «Бабур-наме» должно было стать дневником походов султана Бабура. Аргументируется это положение следующим. Во-первых, это — через сто с лишним лет — следование примеру великого пращура Бабура—Тимура, упоминаний о котором в «Бабур-наме» очень много и на авторитет которого Бабур ссылается неоднократно. Как известно, в соответствии со средневековыми эстетическими нормами следование «идеальному» образцу было одним из условий функционирования произведения искусства как такового (ср. в поэзии многовековую традицию писания назира). Именно Тимур приказал написать дневник его похода в Индию (конец XIV в.), причем, как было подчеркнуто особо, «стилем, далеким от витийства и близким к пониманию» [6. С. 24]. Однако этот заказ Тимура был не понят и потому не выполнен составителем дневника Гиясаддином Али — ученым-теологом из Йезда: им был создан образчик цветистого и мудреного средневекового красноречия. «В выражениях необычайно витиеватых, нередко труднопонимаемых, сопровождаемых порою чудовищными гиперболами, Гийасаддин 'Али представил Тимұра в виде избранной

Аллахом персоны,... которая во всех своих действиях пользуется поддержкой потустороннего мира... Можно думать, что подобная концепция Гийасаддина 'Али не пришлась по вкусу Тимүру; к тому же она оказалась выраженной языком, прямо противоположным замыслу Тимүра...

И Тимүр, как известно, забраковал его (труд Гийасаддина. — Г. Б.)» [7. С. 7—8]. О том, что столетием позже придворный поэт султана Хусейна Байкары, сочинитель месневи Абд Аллах (тахаллус Хатифи), также написал «Тимур-наме», сообщается в «Бабур-наме» (БН 227/BN 1806).

Бабур сам стал автором дневника своих походов в Индию и сопредельные страны. И именно как автор Бабур сумел осуществить требование своего великого пращура — писать дневник походов «стилем, далеким от неестественности и вполне понятным» [7. С. 8]. Это было обусловлено, прежде всего, самой личностью автора: Бабур был поэтом-лириком, писателем — тонким стилистом, литературоведом, законоведом, «талантливым ученым-историком» (по признанию историка; см.: [8. С. 5]). И как историк Бабур проявил себя новатором — уже потому, что свой дневник походов он пишет по-тюркски, между тем как во времена Тимуридов «языком двора и языком ученых» был персидский язык, более того, «...вообще персидский язык до новейших времен остался языком среднеазиатской исторической литературы» [9. С. 380].

По словам Джавахарлала Неру, «...Бабур сам представлял тип государя периода Возрождения, хотя и был лучше, чем европейский тип государя этого периода. Он был авантюристом, но доблестным рыцарем и страстно увлекался литературой и искусством» [10. С. 36]. И далее: «...Бабур был одним из самых культурных и обаятельных людей, какие только существовали. Он был свободен от сектантской ограниченности и религиозного фанатизма и не разрушал, как это делали его предки» [10. С. 57].

Самою личностью Бабура, его высоким положением в обществе было обусловлено то, что авторское слово, авторская трактовка излагаемых событий, авторская точка зрения по любому вопросу в «Бабур-наме» отражены так ярко и выразительно, как это весьма редко можно наблюдать в средневековой тюркоязычной литературе.

Создавая образ автора, Бабур как бы оспаривает концепцию Гияс-аддина Али («венценосный завоеватель — избранник Аллаха, во всех своих действиях пользующийся поддержкой потустороннего мира»). Автору «Бабур-наме», напротив, не чуждо ничто человеческое: он и ошибается (см. ниже — пример БН 80/BN 646), и страдает из-за своих промахов. Недаром Джавахарлал Неру писал о «Бабур-наме»: «...эта восхитительная книга позволяет заглянуть в сокровенный мир этого человека» [10. С. 58]. В самом деле, Бабур откровенен со своим читателем: *Manıya bisjar duşar keldi bi ihtijar ıalaba jıyladım* (БН 69/BN 556) 'Мне пришлось очень тяжело, я поневоле много плакал'; *Özümnı ölümgä qarar berdim* (БН 144/BN 1186) 'Я решил умереть'. В сложных условиях утраты родовых владений приходит решение попытать счастья в чужих краях: *Ahyr özümy ajttım kim mundaq tiriklik gılyunča bir sary başymny alyb jetkänim bihraq ta här jergä ajayym barıunča barsam jahşy bolıaj dep hataj sary barıaqny özümgä qarar berdim* (БН 124/BN 1016) 'Наконец я сказал сам себе: «Чем влачить такое существование, лучше мне уйти, куда глаза глядят; лучше уйти, куда ноги унесут, и я решил про себя уйти в Северный Китай (Хатай)»'.

В этих и подобных случаях, когда Бабур говорит о своих глубоко личных переживаниях, изложение с точки зрения языкового выражения носит личнооформленный характер: налицо использование личного

местоимения *mān* 'я' (или *biz* 'мы'), выделительного местоимения *öz-üm* 'сам я' и соответственно форм глагола 1-го лица [11], имен, а также причастий, снабженных аффиксами принадлежности 1-го лица.

Бабур, как правило, очень четко и недвусмысленно излагает свое авторское мировоззрение, политические и нравственные воззрения, суждения о действиях врагов и союзников. Приведем только один пример: *Sultan mas'ud mirzani kim kiçikligidin beri sahlab ulyajtyb edi bek atakâsi edi bu beş künlük dunja maslahaty žihätdin... tutub bu kör-i nämäk märdäk közlärigä ništär salyb kör qyldy... kim mundaq šani' häräkätlär iqdam qylyaj wä ul kišiga kim by naw' iška ihtimam qylyaj jüz miñ lä'nät tur qyamät-qača här kim husräu šah bu af'alini ešitsä lä'nät qylsun bu af'alini ešitsä lä'nät qylmağan häm säzawar-i lä'nät bolsun* (БН 72, 73/BN 58a, 586). 'Этот неблагодарный человечишко ради выгод этой быстротечной (букв.: пятидневной) мирской жизни схватил Султан Мас'уд-мирзу, которого он с детства пестовал и растил, был при нем беком-воспитателем, воткнул ему иглу в [оба] глаза и ослепил [его]... Сто тысяч проклятий тому, кто совершает подобные гнусные поступки, и тому, кто усердствует в делах этого рода! Всякий, кто услышит об этих делах Хусрау-шаха, пусть проклянет [его] до [дня] страшного суда! Тот же, кто, услышав о таких поступках, не проклянет [его], сам заслуживает проклятия!'. В данном примере авторское слово не сгруппировано вокруг формального местоименного ядра (*mān*, *biz*); здесь представлена косвенная форма присутствия автора в тексте, а авторская позиция выражается лексически (оценочная и экспрессивная лексика), а также внеязыковыми средствами (например, соположением в пределах одного предложения информации «положительной» и «отрицательной»).

Значение личности автора сказалось и в выборе целевой установки «Бабур-наме». Бабур преследовал вполне определенную социальную цель — показать своим современникам все те обстоятельства, которые вынудили его идти походом на Индию, оправдать в глазах современников свои поражения и завоевательные войны императора Бабура, основателя династии Великих Моголов в Индии (один из примеров такого оправдания приведен выше—см.: БН 124/BN 1016). Эта целевая установка «Бабур-наме» — еще один аргумент в пользу того, что перед нами дневник похода Бабура в Индию.

Г. В. Степанов [2. С. 107] приводит слова испанского философа Хосе Ортега-и-Гасета: «...хороша только такая книга, которая дает нам почувствовать скрытый в ней диалог, почувствовать, что автор умеет конкретно представить себе своего читателя». Бабур не только представляет себе своего читателя, он рассчитывает на его «абсолютно справедливое ответное понимание» (М. М. Бахтин). Значение личности автора сказалось также на выборе адресата «Бабур-наме». Выбор адресата в «Бабур-наме» осуществлен вполне осознанно, более того, — оригинально для средневековой литературы.

Известно, что вся чагатайская литература, за малым исключением, была придворной, а сочинитель представлял собой зависимое лицо, патронируемое государем или вельможей. Непосредственным адресатом сочинения, написанного при дворе, всегда был меценат сочинителя. А это вынуждало сочинителя приспособляться к меценату, прежде всего — в мировоззренческом и идейно-эстетическом отношениях. Многие из меценатствующих властителей сами пописывали стихи (как, например, султан Хусейн Байкара). Придворный поэт был обязан угождать вкусам своего адресата все более изощренным литературным мастерством [13], а утвердиться ему помогала постоянно доказываемая ученость, в

том числе глубокое знание престижных арабского и персидского языков, литературы на них [15]. Не секрет, что, например, недавно изданный Толковый словарь языка произведений Навои [16] примерно на 90% состоит из слов арабского и персидского происхождения. Средневековое красноречие и велеречивость, опирающиеся на сложную образную систему и широчайшее использование фарсизмов и арабизмов (не только лексических, но и грамматических), приводили к такому положению, что, например, ряд эпистолярных образцов из сочинения Алишера Навои «Мунша'ат» практически не поддается переводу на современные языки; это показано исследованиями Г. А. Давыдовой [17; 18]. Примечательно, что младший современник Навои — Бабур, критик беспристрастный и строгий, с восторгом отзывался о поэтических сочинениях Навои, но считал, что именно «Мунша'ат» ниже и слабее этих сочинений (БН 213²⁰⁻²² /BN 1706—171a).

Положение султана Бабура в социальной иерархии было столь высоко, что ему не было надобности доказывать свою ученость (а, надо сказать, он получил «основательное мусульманское образование»; см.: [9. С. 380]) или литературную изощренность. Перефразировав слова А. С. Пушкина, можно сказать, что Бабур давал читателям «свои свободные произведения с уверенностью своей возвышенности и признанием публики, беспрекословно чувствуемым» [14. С. 361].

Перед Бабуrom стояли иные социальные задачи, определившие принципиально новый тип адресата для его сочинения. Адресатом его сочинения ему представляется почти фольклорный образ «слышащего и видящего издали и вблизи», с чьим мнением считается автор: *Arada mundaqlar bolsa jyraqdyn jawuqdyn ešitkän körgänlär ne degäjlär* (БН 197 /BN 1586) 'Если такое случится между [нами], что скажут слушающие и видящие издали и вблизи?' (см. традиционное для средневековой тюркоязычной литературы соположение лексем «глаз», «ух» — парное слово *köz-qulaq* 'присмотр, надзор' [12. С. 123], *köz-qulaq bol-* 'быть оком и ухом' [19. С. 104] (ср. также тему слушающего в вышеприведенном примере из БН 72, 73/BN 58a—6). Специфика реализации «многочленной языковой ситуации „говорящий—коммуникативная установка — слушающий“» [2. С. 108] в «Бабур-наме» и состоит именно в новом для средневековой литературы типе адресата.

Бабур стремился в глазах своего адресата — рядового «слышащего и видящего издали и вблизи» — предстать правителем справедливым, рассказчиком правдивым, для которого основной объект повествования — не его собственная персона, но истина. Именно отсюда — стремление установить диалогические отношения с адресатом и таким путем убедить и привлечь его на свою сторону. Установлению контакта с читателем, как известно, призван служить риторический вопрос. Как раз эта стилистическая фигура и используется часто в «Бабур-наме». Примеры: *Samarqand pajtaht turub ne gäraj ul qylur kim Andižan dek jer üčün kiši awuqat zai'qylıaj* (БН 95/BN 78a) 'Пока существует столица, подобная Самарканду, что заставит человека губить жизненные потенции ради такого места, как Андижан?'; *Sultan husājn mirza dek timur bekniñ urunıya oltıryan uluı padišah ıanymnıy üstigä jürümäkni demaj jer berkitmäkni desä el wä ulusqa ne umidwarlıq qalıaj* (БН 149/BN 1226) 'Если столь великий государь, как султан Хусейн-мирза, восседающий на престоле Тимур-бека, не говорит о походе на врага, а велит укрепляться, — какая останется надежда у народа?' (букв.: у племен и орд; см.: [20. С. 203])?'; *Cun analarymdyn kim anam wä anamnıy anasy İsan dāwlāt bekim bolıaj... bir nāw'... hatlar kelib mundaq ihtimamlar bilä tilagajlar ne köñül bilä kiši turıaj* (БН 66/BN 53a) 'Так как от моих ма-

тушек, коими были моя мать и мать моей матери Исан Даулат-беки... приходили подобные письма и они с таким усердием меня призывали, то с каким сердцем устоит человек?».

Вопрос, в том числе и риторический, подразумевает ответную реакцию адресата. Благодаря этому создается впечатление живого взаимодействия между автором и адресатом.

Для реализации задач коммуникативной установки «Бабур-наме» необходим был язык, всем доступный и понятный, без риторических красот персидского слога, с простотой и ясностью выражений [9. С. 380], с умеренным употреблением фарсизмов и арабизмов (в основном—лексических) [21].

Благодаря сознательному авторскому отбору языковых средств создается впечатление простоты языка «Бабур-наме», безыскусственности и даже известной близости его к языку живому. Объективно все это не могло не привести к демократизации чагатайского литературного языка.

* * *

Переходим к собственно лингвистической части исследования.

Именно наличием разных адресатов для «Бабур-наме» и для сочинений Навои, а также разными для них характерами взаимодействия между автором и адресатом диктовались различия в способах достижения «литературной скромности» (выражение К. Броккельмана). В сочинениях Навои употребляется более пятидесяти самоуничижительных субститутов местоимения 1-го лица ед. числа, таких, например, как: *bu banda* 'этот раб', *faqir* 'бедняга' [22. С. 8—9]. В «Бабур-наме» самоуничижительные субституты отсутствуют,—«литературная скромность» выражалась здесь иными способами.

Как показало исследование, все перечисляемые ниже способы — а их мы насчитали пять — оказываются в «Бабур-наме» взаимосвязанными.

Первый способ затрагивает область глагола: это частотные в «Бабур-наме» формы пассива 3-го лица ед. числа, образуемые как от переходных глаголов (при сохранении их управления вин. падежом), так и от непереходных (в том числе и глаголов движения). Такое формоупотребление как интереснейшее в начале XX в. отметил П. М. Мелиоранский в памятнике в честь Кюль-Тегина [23. С. 102]; в середине XX в. исследователь узбекских залогов С. Фердаус, посвятивший этому явлению целую главу, квалифицировал подобное живое функционирование пассива как «языковые ошибки» [24. Гл. 5]. Л. В. Щерба придавал большое значение «ошибкам» подобного рода и видел в них нереализованные языковые потенции [25. Примеч. 11 к с. 379].

В «Бабур-наме» использование форм пассива отмечено двумя особенностями. Первая особенность: в тексте подразумевается субъектная отнесенность форм пассива 3-го лица к 1-му, благодаря чему и достигается нужный эффект безличности изложения: *Alarnıñ sözlärigä qulaq salmaj jürüj berdim ta namaz-i huftänycä jol baryldy* (БН 140/БН 1156) 'Не слушая их слов, я продолжал ехать. И двигался [своей] дорогой до ночного намаза', ... *qaj sary jürür maslahatyny kãñaşildi* (БН 181/БН 1466) '...[мы] совещались с пользе того, в какую сторону [нам] идти'; *Wilajät wä pärkänätıny qysmat qylyldy* (БН 526) '[Мы] разделили округ и уделы'. Именно безличность (а не страдательность) названных форм видна также из их сочетаемости с им подчиненными деепричастиями основного залога; примеры: *Şirim tayajıny husrâw şahqa qoşub jybaryldy*... (БН 154/БН 126a) 'Присоединив Ширим Тагая к Хусраушаху, [я] послал...', *Äsirni tämam ajryb azad qylyldy* (БН 181/БН 1466) 'Пленных [мы] отделили полностью и освободили'; *Tirik keltürgänlärni*

häm bojunlaryny urdurub tüşkan jurttä kala minarä qoparyldy (БН 182/BN 1476) 'Тем, которых привели живыми, я тоже приказал отрубить головы; на стоянке из их черепов построили минарет'.

Вторая особенность: описанное использование пассива по своей высокой частотности [26. С. 22—47] составляет уникальное явление для средневековых тюркских литературных языков. В прозаических сочинениях Навои (в частности в «Мухакамат ал-лугатайн») такое формоупотребление имеет место, но оно малочастотно; наблюдается оно также в документе султана Омар Шейха, отца Бабур-наме [28].

Эти две особенности в использовании пассива Бабуром позволяют считать описанное явление языковым стилеобразующим признаком «Бабур-наме». Данный стилеобразующий признак в языке сочинения отнюдь не изолирован, но он сопряжен с некоторыми другими признаками разного ранга. Это, прежде всего, второй способ выражения «безличности» изложения, затрагивающий область имен и глагольных имен, главным образом — причастий. Имеется в виду широкая возможность для причастий и имен выступать без аффиксов принадлежности 1-го лица ед. и мн. числа, хотя наличие таких аффиксов здесь вроде бы необходимо. Весьма часто только контекст помогает понять, кем же совершено второстепенное действие, выраженное причастием. Например: *Hindustan fāth qylyan jyl* (БН 170/BN 139a) '[В] год, когда [я] завоевал Хиндустан'; *Kām rud azyuā tüşkanda šir 'alī čuhrā qačyb husrāw šah qašy-ya bardy* (БН 99/BN 81a—81b) 'Когда [мы] стали в устье Кам-Руда, сбежал Шир Али Чухра, он ушел к Хусрау-шаху'. При полупредикативном центре — причастии на -уан в местном падеже — обычно отсутствие аффикса принадлежности и в том случае, когда налицо «подлежащее» *mān* 'я' или *biz* 'мы': *Biz čerik atlanṡanda...* (БН 95/BN 77b) 'Когда мы выступили войском...'; *Mān Samarqanddyn čyqyanda qalyb edi* (БН 74/BN 59b) 'Когда я ушел из Самарканды, он остался [там]'.

В подобных условиях может отсутствовать и аффикс принадлежности 3-го лица: *husrāw šah kelgan mahal* (БН 193/BN 156a) '[В то] время, когда пришел Хусрау-шах'; *Bu mahalda šājbani han andižanny alyb hisar wā qunduz üstiga čerik atlayan hābār keldi* (БН 150/BN 122b) 'В это время пришло известие, что Шейбани-хан взял Андижан и что войско [его] направилось на Хисар и Кундуз'. Часто отсутствует аффикс принадлежности 1-го лица в таких ходовых в «Бабур-наме» устойчивых словосочетаниях, как *hatyrṡa keldi kim...* (БН 146/BN 120a) '[мне] пришло на ум', *hatyrṡa jetišti kim...* *dedim* (БН 121/BN 99 b) 'на ум [мне] пришло, что ..., я сказал', *hatyrṡa jetti kim...* (БН 39/BN 31b) '[мне] вспомнилось'.

Обычно отсутствие посессивного аффикса и в случаях, подобных следующему: *On iki jašta padišah boldum* (БН 2/BN 1 b) 'В [свои] двенадцать лет я стал государем'; *andižanṡa bula samarqandny eliktin berdük andižan hām eliktin čyqmıṡ edi... ta padišah bolub edim bu nāw' nu-kārlardin wā wilajättin ajrylmajdur edim* (БН 67/BN 54a—b) 'Ради Андижана мы выпустили из рук Самарканд. [В итоге] Андижан тоже ушел из [наших] рук... С тех пор, как я стал государем, я [еще] не отделялся таким образом от [своих] воинов и владений'; *Kör qalaşlyq wā horlyq tarttym wilajät joq ümidwarlyq joq nukärniṡ köbi ajryldy* (БН 124/BN 101a) 'Много я претерпел обездоленности и унижений. Владений [у меня] нет, обнадеженности нет, большинство [моих] воинов [от меня] отделилось'; *Atma mekr wā firib hatyrda joq edi* (БН 135/BN 110b) 'Но хитрости и обмана в [моем] сердце не было'.

Распространено употребление служебных имен без аффикса принадлежности 1-го лица. Примеры отсутствия посессивного аффикса:

а) при наличии формального «определяемого» — местоимения 1-го лица мн. числа в род. падеже: *Bizniñ arada iki çadyr edi* (БН 146/BN 120 а) 'У нас (букв.: в нашей среде) было два шатра'; *bizniñ arada ba'zilar* (БН 152/BN 124 б) 'некоторые среди нас'; б) при эллипсисе такого формального «определяемого» (оно подразумевается из контекста): *arada mundaqlar bolsa* (БН 197/BN 158 б) 'если между [нами] случится такое'. Весьма часто в случае (б) можно наблюдать отсутствие аффикса принадлежности 3-го лица, например, при описании церемонии встречи Младшего хана со Старшим ханом: *Hannyn sol qoly bilä kejjindin* (БН 126: *arqadyn*) *ajurulub kelib* (БН 103 а) 'Приблизившись, он объехал [Старшего] хана слева и сзади'; *Öziniñ çuhräsi kejjindin oq bilä urdu ildi* (БН 203/BN 163а) 'Его собственный телохранитель поразил его сзади стрелой, [тот] умер'; *arada bir qonub* (БН 155, 182/BN 1266, 1476) 'в промежутке сделав один привал'; *üç arada qonub* (БН 186/BN 1506) 'в промежутке сделав три привала'.

Параллельно с таким довольно частотным неупотреблением аффиксов принадлежности в «Бабур-наме» широко представлены посессивно оформленные имена и глагольные имена. Обычно посессивное оформление имен (в том числе и глагольных) наблюдается в тех фрагментах текста, где недопустима малейшая двусмысленность или неточность в трактовке. Примеры: *Ahyr andižandyn ikinči näwbät çyqyanumyzğa säbäb uşbu bi ta'ammul hukm qylyanumyz edi* (БН 80/BN 646) 'В конце концов причиной того, что мы ушли из Андижана во второй раз, было именно то, что мы отдали необдуманый приказ'; *Tänbäl bizniñ atlanumyzny bilib... wä bizniñ mundaq ildam jetkanimizdin mutahajyr bolub tura qaldy* (БН 89/BN 726) 'Танбал, узнав, что мы выступили... и поразившись, что мы так быстро добрались, остановился'; *Uşal künlär masçada ekanimizda mulla hāžari ša'ir... mulazimat qylqy* (БН 121/BN 99а) 'Когда в те самые дни мы были в Масче, [к нам] в услужение пришел поэт Мулла Хаджари' (без аффикса принадлежности в причастии могло бы быть некорректно истолковано сообщение о том, кто был в Масче); *Uşal künlär dihkettä ekanimdä hamišä pijädä sajyr qylur edim* (БН 119/BN 97а) 'В те самые дни, когда я находился в Дихкете, я всегда совершал прогулки пешком' (в данном примере и при отсутствии аффикса принадлежности в причастной форме такого некорректного истолкования быть не могло); *Biñ peçä kişiniñ qaçar häjallary bar emiñ* (БН 196/BN 1586) 'Оказывается, у нескольких людей была мысль о том, чтобы бежать'; *pasyr mirza ölgän jyly* (БН 170/BN 138а) 'в год, когда умер Насыр-мирза...'; *mundaq kulli tahmil bolıany üçün häjli harab boldy* (БН 179/BN 1446) '... Из-за того, что [страну] так значительно обременили [налогами], случилось большое опустошение'; *Hatyrlaryğa jetibtur kim ri'ajat iapıanymdyn ruhsat tylayan bolıajmen* (БН 125/BN 102а) 'Им пришло на ум, будто бы я испрашиваю разрешение [на уход] из-за того, что я не нашел благорасположения [к себе]'; *Hatyrymğa keldi kim...* (БН 140_а, 5), *hatyrymğa jetti kim...* (БН 124) 'на ум мне пришло, что...'; *meniñ nukärlerimdin* (БН 186/BN 151а) 'из моих воинов'; *bizniñ aramyzda* (БН 148/BN 1216) 'между нами'.

Как явствует из приведенного материала, в таком памятнике чага-тайского литературного языка, как «Бабур-наме», широко представлена та самая необлигативность грамматического значения принадлежности, которую В. Г. Гузев наблюдал в староанатолийско-тюркском языке [29. С. 9; 30], а Д. М. Насилов — в древнеуйгурском [32. С. 73]. Бабур умело использовал это явление, находящееся на стыке языка и речи, в целях создания эффекта «литературной скромности», безличности изложения.

Третий способ, посредством которого достигается эффект безличности изложения, назовем лексическим. Это использование в качестве сказуемого аналитических глагольно-именных структур, где именным компонентом выступает либо фарсизм (*firman* 'приказ'), либо арабское страдательное причастие, иногда масдар, а глагольным — чаще всего вспомогательный глагол *bol* - 'стать'. Примеры: *Firman boldy kim bizniñ bilä bolıanlar talayan nimälarni alsunlar* (БН 80/BN 64 а) 'Был [отдан] приказ: «Те, которые были с нами, пусть возьмут [обратно] награбленные [у них] вещи»; см. еще *firman boldy kim...* (БН 152/BN 1246, БН 155/BN 127а, БН 196/BN 1576); *Därä-i purnıy qurıyıp berkligi wä jerlariniñ şalızar žihätidin burtaylıy burun mazkur bolub edi* (БН 191/BN 154а) 'О неприступности крепости Дара-и Нур и пересеченном [характере] местности из-за рисовых полей упоминалось выше'; *Burıy azimät musammam boldy* (БН 196/BN 158а) 'Окончательно было решено [относительно] прежнего предприятия'; *[Butäkäh uty] wäzh-i täsmijäsi ma'lum emas erdi bu wilajätlarda ma'lum boldy* (БН 173/BN 1406) 'Причина наименования [травы «буте-ках»] была неизвестна, в этих краях стала известна'; *Qurbegilikni hatimya 'inajät boldy* (БН 200/BN 161а) 'Хатиму была пожалована должность начальника арсенала'.

Четвертый и пятый способы достижения «литературной скромности» являются несамостоятельными: они вызваны к жизни высокочастотным употреблением форм пассива 3-го лица с субъектной отнесенностью его к 1-му лицу, а также широким распространением лексического способа выражения безличности. Имеются в виду частотные ограничения в использовании, во-первых, спрягаемых глагольных форм 1-го лица и, во-вторых, соответственно — местоимения 1-го лица в основном падеже.

Все эти пять способов достижения «литературной скромности» в «Бабур-наме» могут считаться его языковыми стилиобразующими признаками. Шестой такой признак является негативным: это отсутствие в «Бабур-наме» самоуничижительных субститутов личного местоимения 1-го лица ед. числа.

Некоторые из перечисленных выше трех самостоятельных способов передачи «литературной скромности» могут быть комбинированы в одном фрагменте текста. Так, рядом соплагаются предложения, в одном из которых безличность выражается формой пассива, в другом — лексическим путем, посредством аналитической структуры: *Hindustan näwahişini här giz körülgän emas erdi niñnäharğa jetkaç özgä 'alami näzärğä keldi* (БН 179/BN 145а) '... [Я] никогда не видел окрестностей Хиндустана. Когда [мы] добрались до Нингнахара, взором открылся другой мир'. В пределах одного предложения чаще всего соплагаются первый и второй способы достижения «литературной скромности» — глагольная форма пассива и отсутствие аффикса принадлежности в имени или причастии (в первом из приводимых примеров примечательно использование формы пассива с субъектной отнесенностью к 1-му лицу даже в прямой речи): *Dedim kim... birar at qolıa tüşürüb Hožänd sujudyn ul sarı barylajay* (БН 141/BN 1166) 'Я сказал: «...раздобудем [себе] по одной лошади и через реку Ходженда пойдем в ту сторону»; *Uşbu jurtta ekända kabulniñ üstigä fi l-hal barur janaryny kənaşildi* (БН 154/BN 126а) 'Находясь именно на этой стоянке, мы держали совет: идти ли [нам] на Кабул тотчас же или отойти'; *Sāñār lafzini kabulga kəlganda ešitildi* (БН 182/BN 1476) 'Слово *сангар* 'укрепление в горах' [я] услышал, когда пришел в Кабул'. Благодаря взаимодействию названных способов выражения «литературной скромности» эффект безличности изложения в «Бабур-наме» усугубляется.

Итак, нам удалось вычленить группу сопряженных между собою и взаимоподдерживающих языковых стилеобразующих признаков «Бабур-наме» в их взаимодействии. О трудностях, связанных с установлением языковых стилеобразующих признаков, пишет исследователь русского литературного языка О. А. Лаптева [33]. Эта группа стилеобразующих признаков сыграла известную роль в становлении среднего стиля, который активно разрабатывался именно Бабуром [34. С. 88—89]. Формирование среднего стиля составляет важный этап в развитии чагатайского литературного языка.

Следует особо подчеркнуть: широкое применение всей этой группы стилеобразующих признаков, обеспечивающих безличность изложения в «Бабур-наме» и в конечном счете возникших в результате взаимодействия категорий «автор» и «адресат», тем не менее совсем не ведет к тому, чтобы образ автора здесь был бы окрашен внеличными тонами. Напротив, авторское начало передается весьма ярко как с точки зрения содержательной, так и в отношении языкового выражения. Безличное изложение как бы оттеняет авторское слово, делает его еще более выпуклым и примечательным. Взаимодействие «автора» и «адресата», на которого рассчитаны и безличность изложения и прямое авторское слово, влияние «адресата» на «автора» можно видеть в тех риторических вопросах, которые обращены к «слушающим и видящим вдали и вблизи», — Бабура по многим насущным темам повествования кровно интересует: 'что скажут «слушающие и видящие вдали и вблизи»?'. (... juraqdyň jawuqdyň eřitkan körganlar ne degajlar (БН 197/БН 1586)). Та же ориентация на мнение «адресата» «Бабур-наме», более того, — прямая зависимость от него ярко выражена в следующем риторическом вопросе «автора»: Här kim 'aqldyn bähräwär bolsä nega andaq häräkätýa iqdäm qylyaj kim andyn soň jaman degaj wä bir kişigä huşdyn asar bolsä nega andaq amrya ihtimam qylmaj kim qylyandyn soň mutâhas-sin degajlar (БН 234/БН 1856) 'Если кто обладает долей разума, то зачем совершает такие действия, о которых потом будут говорить дурно? Если у человека есть [хоть] след ума, зачем он не усердствует в таком деле, после совершения которого [его] будут одобрять?'

Редкий средневековый текст так явно раскрывает взаимодействие категорий «автор»—«адресат», как это можно наблюдать в «Бабур-наме».

* * *

Разноранговость взаимосвязанных и взаимоподдерживающих шести стилеобразующих языковых признаков «Бабур-наме», неравноценность их содержательного наполнения, самостоятельность одних и производность других обусловили то существенное обстоятельство, что они не обладают равными возможностями для использования их дисциплинами историко-лингвистического цикла. Такие признаки, как, во-первых, отсутствие субститутов местоимения 1-го лица ед. числа, во-вторых, частотные ограничения в употреблении личных глагольных форм 1-го лица, в-третьих, соответствующие ограничения в отношении личного местоимения 1-го лица, в-четвертых, лексический способ передачи безличности, являются валентными только в пределах истории литературного языка.

Значимость двух других признаков выходит за пределы истории литературного языка. Это, во-первых, высокочастотные формы пассива 3-го лица в их субъектной отнесенности к 1-му лицу и, во-вторых, частотные ограничения в использовании аффиксов принадлежности 1-го лица при именах и причастиях (на фоне необлигаторности грамматического значения принадлежности в целом), употребление посессивно

не оформленных имен. Оба эти признака, безусловно, могут быть использованы при составлении исторической грамматики чагатайского литературного языка. Более того, два названных языковых признака представляют большой интерес также и для исторической грамматики тюркских языков. Эти признаки представлены языковыми явлениями, статус которых исторически был неодинаков: они то выбивались на уровень нормы литературного языка (в средневековый период), то — позднее — утрачивали свою нормативность и стали осознаться носителями языка как языковые ошибки. Языковые потенции, питавшие эти явления, не нашли своей реализации в последующие периоды эволюции тюркских языков.

Таким образом, применение функционального метода с учетом соотношения «автор—адресат» не только оказывается плодотворным в области истории литературного языка и исторической грамматики литературного языка, но и помогает решению другой важной проблемы историко-лингвистических исследований, а именно соотношению дисциплин «история литературного языка» — «историческая грамматика литературного языка», с одной стороны, и «историческая грамматика общенародного языка» — «историческая грамматика тюркских языков» — с другой.

П Р И М Е Ч А Н И Я

¹ Виноградов В. В. Проблема авторства и теория стилей. М., 1961.

² Степанов Г. В. Язык. Литература. Поэтика. М., 1988.

³ Толстой Н. И. История и структура славянских литературных языков. М., 1988.

⁴ Обзор см.: Тенишев Э. Р. Принципы составления исторических грамматик и историй литературных тюркских языков//Сов. тюркология. 1988. № 1.

⁵ При цитировании материала ссылки даются на издания: «Бабер-наме», или Записки Султана Бабера/Изд. в подлинном тексте Н. И. [Ильминским]. Казань, 1857 (сокращенно—БН); The Bābar-nāma/Ed. by A. S. Beveridge. Leyden; London, 1905 (сокращенно—BN).

⁶ Гийасадин 'Али. Дневник похода Тимūra в Индию. М., 1958.

⁷ Семенов А. А. Предисловие переводчика// [6].

⁸ Азимджанова С. Индийский диван Бабура. Ташкент, 1966.

⁹ Бартольд В. [Рец. на кн.:] Cahun L. Introduction à l'histoire de l'Asie. Paris, 1896. Отд. отт./Журн. М-ва нар. просвещения.

¹⁰ Неру Джавахарлал. Взгляд на всемирную историю. М., 1975. Т. 2.

¹¹ Аналогичное языковое выражение категории «автор» находим, например, в послесловии к «Атебат ал-хаканик» Ахмада Югнаки: Adib Ahmād ōzūm, ādāb sōzūm. * Sōzūm tunda qalır, bağır bu ōzūm 'Сам я—Ахмад-литератор, мои слова — назидание [всем]. * Слова мои останутся, это сам я ухожу [из мира]'; * Bittim bu tansuq tōzūn sōz-lārin * Hala barsa ōzūm, atım qalsu der 'Написал я эти редкостные слова * в надежде, что останется мое имя, когда сам я уйду' [12. С. 47].

¹² Наджип Э. Н. Исследования по истории тюркских языков XI—XIV веков. М., 1989.

¹³ В связи с характером средневековой придворной литературы интерес представляют суждения А. С. Пушкина о «важной разнице между трагедией народной, Шекспировой и драмой придворной, Расиновой»: «Творец трагедии народной был образованнее своих зрителей, он это знал, давал им свои свободные произведения с уверенностью своей возвышенности и признанием публики, беспрекословно чувствуемым. При дворе, наоборот, поэт чувствовал себя ниже своей публики. Зрители были образованнее его, по крайней мере так думал и он, и они. Он не предавался вольно и смело своим вымыслам. Он старался угадывать требования утонченного вкуса людей, чуждых ему по состоянию. Он боялся унижить такое-то высокое звание, оскорбить таких-то спесивых своих зрителей — отселе робкая чопорность, смешная надутость, вошедшая в пословицу (...), привычка смотреть на людей высшего состояния с каким-то подобострастием и придавать им странный, нечеловеческий образ изъяснения» (разрядка наша.—Г. Б.) [14. С. 361—362].

¹⁴ Пушкин А. С. О народной драме и о «Марфе-Посаднице» М. П. Погодина//Собр. соч.: В 10 т. М., 1962. Т. 6.

¹⁵ Насколько ученость считалась неперменным качеством средневекового поэта, показывает рассказ Бабура об одном из придворных поэтов султана Хусейна Байкары — Сейфи Бухари. По словам Бабура, этот современный поэт в общем-то обладал ученостью (*mullalugy*), но тем не менее показывал людям список прочитанных им книг, стремясь тем самым подтвердить свою ученость (... *fi l-ʒumlaʾi mullalugy bar edi oquyan kitabniʾi mefsyū elga kōrsatib mullalugyū isbat qylur edi* (БН 226/BN 1806)).

¹⁶ Алишер Навоий асарлари тилининг изохли луғати. Тошкент, 1983. Т. 1, 2; 1984. Т. 3; 1985. Т. 4 (НАЛ).

¹⁷ Давыдова Г. А. Палеографическое описание рукописей «Мунша'ят»: («Сборник писем») Алишера Навои//Крат. сообщ. ИВ АН СССР. М., 1961. Вып. 84.

¹⁸ Она же. Из эпистолярного наследия Алишера Навои//*Turcologica*. 1986: К восьмидесятилетию академика А. Н. Кононова. Л., 1986.

¹⁹ *Zajaczkowski A. Najstarsza wersja turecka Husravu Sirin Qutba*. Warszawa, 1961. Cz. 3: Słownik.

²⁰ Сравнительный словарь турецко-татарских наречий // Сост. Л. Будагов. Спб., 1869. Т. 1.

²¹ Приведем пример сознательного ограничения частотности таких широко распространенных в чагатайском языке заимствований, как арабизм *allah* и фарсизм *huda(j)* 'бог': вместо них Бабур большей частью употребляет традиционное др.-тюрк. *tānqī*. У Навои, напротив, *tānqī* представлено единичным примером [16. Т. 3. С. 180], зато *аллох* [16. Т. 1. С. 80; 16. Т. 4. С. 265—266] и *худо(й)* [16. Т. 3. С. 425—426] — разветвленными гнездами производных и фразеологизмов.

²² Юсуфов Б. Местонахождения в староузбекском литературном языке: (XV—XVI вв.): Автореф. дис. ...канд. филол. наук. Ташкент, 1988.

²³ Мелиоранский П. М. Памятник в честь Кюль-Тегина // ЗВО РАО. Спб., 1899. Т. 12, вып. 2—3.

²⁴ Фердаус С. А. Узбек тилида фе'л даражалари категорияси: Дис. ...канд. филол. наук. Тошкент, 1950.

²⁵ Щерба Л. В. Языковая система и речевая деятельность. Л., 1974.

²⁶ Обширный конкретный материал приведен в [27] (там же—литература по вопросу).

²⁷ Благова Г. Ф. Формы пассива, представленные в «Бабур-наме», и особенности их синтактико-стилевого использования // *Asian and African studies*. Bratislava, 1965. 1.

²⁸ Мелиоранский П. М. Документ уйгурского письма султана Омар Шейха // ЗВО РАО. Спб., 1904. Т. 16.

²⁹ Гузев В. Г. О категории аспектуальности//Сов. тюркология. 1988. № 1.

³⁰ На ином материале факты отсутствия аффиксов принадлежности в служебных именах (например, *bir kečä ortada* (БН 120) 'среди ночи') отмечались еще раньше [31. С. 139].

³¹ Благова Г. Ф. Характеристика грамматического строя (морфологии) староузбекского литературного языка конца XV века по «Бабур-наме»: Дис. ...канд. филол. наук. М., 1954.

³² Насилов Д. М. Некоторые проблемы тюркской диахронической морфологии и языковые особенности древнетюркских памятников // Сов. тюркология. 1988. № 2.

³³ Лаптева О. А. Языковые основания выделения и разграничения разновидностей современного русского литературного языка // Вопр. языкознания. 1984. № 6.

³⁴ Благова Г. Ф. О соотношениях прозаического и поэтического вариантов средне-азиатско-тюркского письменного-литературного языка XV—начала XVI в.//Тюркологический сборник. 1975. М., 1978.

Д. М. НАСИЛОВ

ВЗАИМОСВЯЗИ ФУНКЦИОНАЛЬНО-СЕМАНТИЧЕСКИХ ПОЛЕЙ В ТЮРКСКИХ ЯЗЫКАХ

Функциональный подход к истолкованию фактов языка — функциональная грамматика — становится в последние годы ведущим методом описания отдельных языков, их грамматических категорий. Поворот к исследованию коммуникативных функций языка во всем их объеме способствовал разработке грамматической теории, учитывающей динамические аспекты взаимодействия различных ярусов языковой структуры. Особое внимание проявляется в связи с этим к семантике грамматических категорий и форм, которая реализуется в высказывании в целях передачи определенного коммуникативного задания. Совершенно ясно, что только в высказывании действует вся система связей между его семантическими компонентами, представленными лексемами и грамматическими формами, всем многообразием грамматических способов.

Именно в функциональной грамматике разработан метод полевого описания языковых явлений, который позволяет определить составные части выражаемой семантики и соответствующие средства представления последней. В то же время данный подход предотвращает уход от собственно языковой семантики в область «логических смыслов» и замену языкового анализа описанием смыслов, ориентированных на мыслительную деятельность говорящего без учета их коммуникативной ценности. Важно выявить в функционально-семантическом аспекте, как ведет себя лексическая и грамматическая семантика, когда в высказывании реализуется конкретное смысловое задание, как в этом случае происходит сопряжение лексических, морфологических и синтаксических значений. Функциональная нагрузка языковых единиц каждый раз определяется их системными связями и условиями межуровневого взаимодействия. Функциональный и системный подход к анализу категорий помогает раскрыть субстанциональные возможности и систему внутренних связей между элементами разных уровней языка, прежде всего между лексическими значениями и значениями морфологических форм.

Функционально-семантический подход к описанию языковых фактов применялся в тюркологии и ранее. Его предвозвестниками были авторы известной Грамматики алтайского языка; их традиции продолжили П. М. Мелиоранский, А. Н. Самойлович, И. А. Батманов, Ж. Дени, С. С. Майзель и другие тюркологи. Сторонниками функциональных исследований являются Н. А. Баскаков, С. Н. Иванов, В. Г. Гузев, Л. Юхансон, К. Шёниг. Понятие функционально-семантического поля

использует в своем описании категорий глагола Д. Г. Тумашева [1]. Таким образом, функционально-грамматические принципы интерпретации тюркского материала основываются на большой традиции и потому логично согласуются с новейшими достижениями современной лингвистической мысли, одним из которых является признание «полевой структуры грамматических явлений и их значений» [2]. Учение о функционально-семантическом поле (ФСП) лежит в основе концепции, развиваемой А. В. Бондарко и его школой [3; 4].

«ФСП — это базирующаяся на определенной семантической категории группировка грамматических и „строевых“ лексических единиц, а также различных комбинированных (лексико-синтаксических и т. п.) средств данного языка, взаимодействующих на основе общности их семантических функций» [4. С. 14]. Как видно, основным критерием семантического обоснования ФСП должна стать однородность и иерархическая соотнесенность всей совокупности языковых значений, охватываемых данным полем. В основу ФСП должны класться поэтому лишь категориальные смыслы: именно грамматическая категория является важнейшим узлом грамматического строя языка. Фиксация в языке грамматической категории — как двусторонней единицы системы — свидетельствует, как представляется, не только о категоризации определенного смысла (семантики), но и о наличии у носителей данного языка фокусированного представления (концепта) о закрепленных за категорией признаках реальной действительности. Может быть, именно последнее обстоятельство способствует синонимизации выразительных средств в семантическом пространстве ФСП. В высказывании осуществляется речевая реализация семантики морфологической категории, использованной для передачи категориального (узуального) смысла, причем реализация последнего опирается не только на морфологическую форму, но и на другие средства, специализированные в данном отношении. Так, аспектальная семантика — это типизированное явление, одна из разновидностей узуальных смыслов; в высказывании она создается совокупно всеми его компонентами, поэтому глагольная лексема используется здесь прежде всего как носитель вещественной семантики, а долю информации об аспектuality берут на себя морфологические формы и контекст.

Поскольку в рамках языковой системы ФСП образуют единства, А. В. Бондарко выделяет четыре группировки ФСП: 1) с предикативным ядром, куда входит блок аспектальных, темпоральных, модальных, персональных и других значений; 2) с субъектно-объектным ядром; 3) с качественно-количественным ядром; 4) с обстоятельственным ядром. Эта субкатегоризация отражает системные и функциональные связи категориальных смыслов, а через них — и формальных средств представления. В самой классификации отражаются, естественно, различные уровни абстрагирования языковой и внеязыковой семантики.

Раз функциональная грамматика базируется на категориальной семантике, то она может быть реализована только для одного конкретного языка, всегда оригинального по своей структуре. Особенности строя тюркских языков проявляют себя в организации грамматических категорий, отражающих специфику агглютинирующих языков.

Не так давно была предпринята попытка сформулировать признаки этих языков на фоне изолирующих и флективных [5]. Н. В. Солнцева рассмотрела проблему сопряженности признаков, таких, как признак однозначности и стандартности аффиксов, признак близости формальных элементов к вещественным словам, признак изолированности и самостоятельности формального элемента, признак факультативности.

В работе показано, что «базу для существования факультативности показателей, или для их избирательности, создают несинтаксические категории. Это общий момент, характерный для языков любой типологии» [5. С. 207—208]. Следовательно, анализ таких категорий является актуальным для функциональной грамматики каждого языка. Очень продуктивен вывод автора о роли аналитической техники в образовании словоформ [5. С. 157]. Отметим, что основная цель работы была ориентирована на выявление типологии изолирующих языков и агглютинативные и флективные языки составляли здесь лишь фон сопоставления. В то же время углубленный анализ именно агглютинативной типологии остается важной лингвистической проблемой, и в тюркологии в этом направлении сделаны лишь первые шаги [6]. Насколько это важно, показывают не только исследования Н. В. Солнцевой и Н. А. Баскакова, но и первые опыты функционального описания тюркских языков [1; 7; 8]. Именно внутреннее устройство языка, его субстанциональные возможности (специфические для каждого уровня) и сложившаяся система внутренних связей определяют способ или путь, которым и осуществляется с помощью этого языка коммуникация.

В связи с семантической наполненностью тюркских аффиксов необходимо четко разграничивать типы языковой семантики, связанной, с одной стороны, только с лексикой, а с другой — привносимой в словоформу в результате введения в нее различных грамматических показателей, т. е. возникающей в процессе словообразования, формообразования и словоизменения. Разведение этих двух типов семантики крайне целесообразно, поскольку оно призвано отражать существование в языке фундаментального противопоставления самостоятельных и несамостоятельных языковых значений, последние из которых, как правило, и формализуются [8. С. 33]. Эти два ведущих типа принадлежат к разным функциональным уровням языка, что совершенно небезразлично и для функциональной грамматики как таковой. Типы языковой семантики различаются не по своему содержанию, а по форме своего существования (Ю. С. Маслов, Е. С. Кубрякова). И здесь вступает в силу закон (или принцип) избирательности, действующий в конкретном языке (Б. А. Серебренников). Поэтому в разных языках оказываются закрепленными за разными слоями языковой семантики самостоятельные и несамостоятельные значения лексем и морфем. Таким образом в языке устанавливается синонимия средств выражения аналогичной семантики. Эти явления составляют онтологическую базу для функциональной грамматики.

Момент вторичности грамматической семантики особенно важен для агглютинативных тюркских языков с их необязательностью части грамматических категорий, с принципом «набора» средств репрезентации коммуникативного задания, который обычно предстает как «факультативность» тех или иных грамматических средств. С другой стороны, оказывается, что «выбор» и «набор» осуществляются в агглютинативном языке по строгим правилам согласования «средства» и «функции», заложенных в языковой системе. Эти закономерности проявляются в полной мере при функциональном анализе, который дает возможность проследить указанные глубокие связи между всеми элементами системы.

Как указывалось, А. В. Бондарко при группировании ФСП учитывает их связи с семантикой предложения (1-я группа), частей речи и их грамматическими категориями. Такие межуровневые связи прослеживаются в полной мере при функциональном анализе, который дает несколько примеров, уже отмеченных в грамматических работах.

Известны случаи некатегориального использования показателя множественности *-лар* для выражения раздельной множественности у несчисляемых имен (*сувлар*) или экспрессивности, почтительности (*ата-лар*). Здесь мы имеем «расщепление» ФСП множественности и пересечение его с ФСП оценки. Рассматривая явление с иной стороны, мы видим полифункциональность грамматического показателя при обслуживании смысловых заданий из разных ФСП. ФСП множественности пересекается также с полем залоговости, в частности с семантикой взаимно-совместного залога на *-ш* и пассива на *-л*. Возможность «использования показателей взаимно-совместного залога и пассива в качестве словоизменятельных аффиксов: одного как выразителя идеи множественности в глаголе (очень часто дистрибутива. — Д. Н.) и обоих — для выражения „модуса” (гоноратива или уничижительности, депрессивности)» [9. С. 59] сама по себе очень примечательна, как и возможная связь с темпоральностью.

Пример категории принадлежности весьма ясно раскрывает интерпретирующую силу языкового механизма и морфологизацию (превращение в значение морфологических форм) денотативной семантики, отражающей отношения между предметами. На этом базируется особая роль данной морфологической категории в структуре семантики предложения, связанной с отображением лица.

Сложную структуру представляют ФСП, обусловленные модификацией качественно-количественной стороны процесса; поля в сфере аспектуальности характеризуются разной степенью обобщенности. Их иерархия идет от изменения фазовой структуры процесса, выраженного в глаголе, до пространственной направленности процесса (векторная семантика). Интересно, что направленность процесса входит в семантику некоторых залоговых показателей.

В тюркских языках отличаются полифункциональностью инфинитные формы глагола, актуальные для построения синтаксических структур.

Признание категориальной природы ФСП действительно заставляет начинать с определения сущности каждой категории и только потом переходить к функциональной модели форм категории в рамках ФСП.

ЛИТЕРАТУРА

1. Тумашева Д. Г. Татарский глагол: Опыт функционально-семантического исследования грамматических категорий. Казань, 1986.
2. Бондарко А. В. Принципы функциональной грамматики и вопросы аспектологии. Л., 1983.
3. Адмони В. Г. Грамматический строй как система построения и общая теория грамматики. Л., 1988.
4. Теория функциональной грамматики: Введение. Аспектуальность. Временная локализованность. Таксис. Л., 1987.
5. Солнцева Н. В. Проблемы типологии изолирующих языков. М., 1985.
6. Баскаков Н. А. Историко-типологическая морфология тюркских языков: Структура слова и механизм агглютинации. М., 1979.
7. Иванов С. Н. Курс турецкой грамматики. Л., 1975. Ч. 1: Грамматические категории имени существительного; Л., 1977. Ч. 2: Грамматические категории глагола.
8. Гузев В. Г. Очерки по теории тюркского словоизменения: Имя. Л., 1987.
9. Благова Г. Ф. Заметки о взаимно-совместном залоге//Сов. тюркология. 1976. № 6.

С. А. СОКОЛОВ

**КАТЕГОРИЯ ОПРЕДЕЛЕННОСТИ/НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ
КАК СИСТЕМА ВЫРАЖЕНИЯ КОММУНИКАТИВНЫХ
И СЕМАНТИКО-СИНТАКСИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ
(НА ПРИМЕРЕ ТУРЕЦКОГО ЯЗЫКА)**

Категория определенности/неопределенности принадлежит к числу языковых универсалий. Являясь необходимым условием обеспечения акта коммуникации, она в различных языках выражается разными средствами или совокупностью средств. Исследование этой категории имеет существенное значение как для теоретической грамматики, так и для практического преподавания иностранных языков. Категория определенности/неопределенности представляет собой сложное сочетание отношений и способов выражения этих отношений. Несмотря на то, что многие из них находятся на различных уровнях языка, все вместе они образуют диалектическое единство, отдельные элементы которого как бы дополняют друг друга. Некоторые противоречия, которые кажутся неразрешимыми при первом подходе, могут быть преодолены последовательным лингвистическим анализом. Правильное проведение его должно не только объяснить наиболее «трудные» случаи, но и обеспечить надежную предсказуемость того или иного способа выражения определенности или неопределенности в каждом данном контексте и ситуации.

Подробное изложение этапов развития артикля и истории его изучения содержится в работах Б. А. Серебренникова [1], О. И. Москальской [2], Г. М. Габучана [3]. Категория определенности/неопределенности сложна и многоаспектна. И. И. Ревзин, характеризуя категорию определенности/неопределенности главным образом в славянских и немецком языках, подчеркивает, что эта категория охватывает не только собственно определенность/неопределенность, но и проявления экзистенциальности и актуализованности [4. С. 163]. Г. М. Габучан выделяет следующие аспекты изучения категории определенности/неопределенности и артикля как важнейшей составной части этой категории: 1) сущность категории определенности/неопределенности, с которой связывается употребление артикля; 2) характер связи между категорией определенности/неопределенности в целом и артиклем; 3) роль категории определенности/неопределенности вообще и артикля в частности в системе функционирования языка [3. С. 7]. А. Г. Гасанов указанную категорию рассматривает в трех аспектах: лексико-семантическом, лексико-грамматическом и грамматическом (морфологическом и синтаксическом), указывая при этом на связь ее с категорией абстрактности/конкретности [5]. Категория определенности/неопределенности давно уже привлекает внимание тюркологов (правда, только с точки зрения определенности род. и вин. падежей), а также ученых, занимающихся алтаистикой [6. С. 36—39; 7. С. 340—341].

В тюркологии использование понятия неопределенного артикля (члена) имеет довольно давнюю традицию. Ж. Дени называл слово *bir* в рассматриваемой функции неопределенности артиклем (*article indéfini*) [8. § 259], относя лишь некоторые случаи его употребления к разряду «неопределенных прилагательных» [8. § 332].

Значительный вклад в изучение категории определенности/неопределенности в тюркских языках, и в частности в турецком, был внесен Н. К. Дмитриевым [9—11], А. Н. Кононовым [12], С. С. Майзелем [13; 14], С. Н. Ивановым [15; 16] и др.

Современные турецкие грамматисты называют слово *bir*, употребляемое в качестве показателя неопределенности, «неопределенным прилагательным» (*belirsizlik sıfatı*), отграничивая его от числительного *bir* [17. § 373].

С. С. Майзель называет «определенными с точки зрения языка» предметы, «идентичные в сознании участников речи» [13. С. 168]. Это совпадает с определением И. И. Ревзина, который кладет в основу понятия определенного существительного наличие условий, при которых «соответствующий слову объект однозначно идентифицируется как таковой» [4. С. 163]. С. С. Майзель говорит о «тождестве соответствующего образа или понятия у говорящего и слушающего (или пишущего и читающего)» при выражении определенности [14. С. 61]. Иными словами, в случае определенности говорящий полагает, что слушающему уже известно, о каком члене данного класса предметов или о каком «конкретном образчике данного вещества» [18. С. 5] идет речь. В случае неопределенности «говорящий не предполагает такого предварительного знания со стороны слушающего» [18. С. 216] в отношении предмета речи, вводя его в качестве новой информации. Формулируя понятие «определенности», И. И. Ревзин писал: «Определенным (точнее: сильно определенным) существительное бывает тогда, когда соответствующий слову объект однозначно идентифицируется как таковой (например, при сравнении с некоторым эталоном, хранящимся в памяти)» [4. С. 11]. В этом смысле определенность связана с вопросом о «старой и новой информации» и так же «зависит от факторов, выходящих за рамки предложения», как определенный артикль в английском языке [18. С. 5]. Однако речь не должна идти, очевидно, о прямом отождествлении объектов посредством употребления определенного артикля и его «заместителей» в процессе коммуникации [19. С. 59].

Рассматривая указанную категорию, Н. К. Дмитриев выделяет следующие случаи определенности и неопределенности:

1) определенность индивидуальная, которая в неопр. падеже выражается прибавлением слова *bu* 'этот', а в род. и вин. падежах — обязательным добавлением соответствующих аффиксов (*bu at*, [*bu*] *at-ın*, *at-ı*);

2) определенность коллективная (*bu atlar*, [*bu*] *atların*, *atları*);

3) неопределенность коллективная (*at* — в неопр. падеже с сохранением той же безаффиксальной формы в определительном сочетании и в позиции прямого дополнения непосредственно перед управляющим глаголом — *at gördüm* 'я видел коней');

4) неопределенность индивидуальная, при которой перед существительным ставится слово *bir* (в роли неопределенного члена) — *bir at*; эта же форма «сохраняется в родительном и винительном падежах» [20. С. 66—67; ср.: 11. С. 33—39]. Несомненно, что в таком понимании

категории определенности/неопределенности устанавливается взаимосвязь этой категории с категорией числа. В другом месте Н. К. Дмитриев подчеркивает эту закономерность [20. С. 44—45]. Вместе с тем обращает на себя внимание тот факт, что в перечне вариантов взаимосвязанного использования категории числа и категории определенности/неопределенности отсутствует такой вариант, при котором сочетаются мн. число (с аффикс. -lar, -ler) и неопределенность: Selânik'te çıkan Genç kalemler'de Ömer Seyfettin ve arkadaşlarının «Yeni lisan» iddiaları, İstanbul'da geniş yankılar uyandırdı (Levend. Gazete dilindeki gelişmelere bir bakış) 'Принципы «нового языка», выдвинутые Омером Сейфедином и его друзьями на страницах журнала «Генч калемлер», выходящего в Салониках, вызвали широкие отклики в Стамбуле'.

Существенным можно считать дополнение, внесенное позже С. Н. Ивановым в дифференциацию противопоставленных друг другу синтаксических моделей, отражающих различные случаи взаимосвязи категории числа и категории определенности/неопределенности. С. Н. Иванов стмечает, что имя существительное с аффиксом мн. числа выражает не только определенную множественность, но в некоторых случаях неопределенную «неконкретизированную» множественность, лишенную контекстуальной определенности [15. С. 37—38]. Отправляясь от плодотворной идеи Н. К. Дмитриева рассматривать указанные категории в совокупности, С. Н. Иванов вносит уточнения в его известную классификацию вариантов определенности и неопределенности [10. С. 217—218], указывая, что в позиции прямого дополнения мн. число может быть представлено как определенное, так и неопределенное и соответственно иметь форму вин. и основн. падежей. На основании анализируемого материала С. Н. Иванов пришел также к выводу о том, что ед. число в значении собирательности может быть представлено не только как неопределенное (в осн. падеже), но и как определенное (в вин. падеже) [15. С. 38—39].

Можно обратить внимание и еще на один момент в перечислении случаев определенности/неопределенности, приводимом Н. К. Дмитриевым. Рассматривая индивидуальную неопределенность (bir at), Н. К. Дмитриев подчеркивает, что эта форма «сохраняется» без присоединения аффиксов род. и вин. падежей в позиции определения и прямого дополнения непосредственно перед управляющим глаголом. Этот тезис нуждается в уточнении: сочетание существительного с неопределенным артиклем bir может и должно принять аффикс род. падежа, сохраняя при этом значение неопределенности, при выражении отношений принадлежности со своим определяемым: bir atın başı 'голова какой-то лошади (соответственно относительно-определятельное сочетание bir at başı имело бы значение 'какая-то конская голова' и неопределенный артикль относился бы ко всему сочетанию в целом). Это обстоятельство имеет существенное значение с точки зрения истолкования функции род. падежа в аспекте определенности/неопределенности: аффикс род. падежа при существительном не является сам по себе показателем определенности, он является лишь одним из тех определителей, которые в сильной степени предопределяют определенность последующего существительного—определяемого.

Система артикля в турецком языке ассиметрична в двух отношениях; во-первых, здесь вообще отсутствует определенный артикль и, во-вторых, не имеется неопределенного артикля мн. числа [21]. Однако следует добавить, что в турецком языке развился аналог неопределенного артикля мн. числа в форме birer, омонимичной соответствующему разделительному числительному. Употребление birer в особой функции,

аналогичной употреблению неопределенного артикля, в плоскости мн. числа если и не отличается в современном турецком языке тотальностью и высокой частотностью, то занимает уже достаточное место, позволяющее говорить о развитии в нем категории артикля. Рассмотрим следующие примеры: *Gıda işi mesken işi, su işi, başlıbaşına birer dâva* (Baykurt. *Efkâr tepesi*) 'Проблема продовольствия, проблема жилья, проблема воды — все это особые проблемы'; *Kısacası, sinema yahut televizyon tiyatrodan ayrı birer sanat kolu oldukları için, tiyatronun yerini tutamadıkları için de bu sebeplerden dolayı da tiyatroyu yok edemezler* (Hikmet. *Tiyatronun geleceği*) 'Короче говоря, поскольку кино или телевидение являются видами искусства, отличными от театра, поскольку они не смогут занять место театра, они в силу этих причин не смогут вытеснить театр'; *Aydınlar için yazılmış bir eserle bir halk hikâyesinin dili arasında hiç bir benzerlik bulunmadığı gibi bir «arıza» ile dilekçe, resmî bir «müzekkire» ile özel bir mektup da dil ve deyiş bakımından ayrı birer karakter taşırdı* (Levend. *Gazete dilindeki gelişmelere bir bakış*) 'Подобно тому, как отсутствовало сходство между произведениями, написанными для интеллигенции и рассказами для народа, различный характер с точки зрения языка и стиля носили «прошение» и заявление, официальное «послание» и частное письмо'. В этих примерах обращают на себя внимание следующие особенности функционирования словоформ *birer*: а) ее значение переосмыслено и утратило непосредственную связь с омонимичным разделительным числительным; б) она подверглась грамматикализации и не является элементом лексического наполнения предложения. При этом если мы произведем трансформацию, например, второго из приведенных выше предложений, перенося его соответствующие компоненты из плоскости множественности в плоскость единичности, то получим следующую конструкцию: *...sinema [yahut televizyon] tiyatrodan ayrı bir sanat kolu olduğu için ...tiyatroyu yok edemez* '...поскольку кино (или телевидение) является видом искусства, отличным от театра, оно не сможет вытеснить театр'. На такое употребление словоформ *birer* обратил внимание Льюис, который называет его «идиоматическим» (*idiomatic*) [22. С. 83].

Неопределенность как одно из противопоставленных проявлений категории определенности/неопределенности семантически неоднородна. Являясь в известной степени многозначной, неопределенность включает различные как по «силе» проявления, так и по характеру проявления элементы.

Семантическая структура самого неопределенного артикля *bir* неоднородна. В различных контекстах реализуются различные внутренние значения неопределенного артикля. Перечислим некоторые типичные его частотные значения в их русских соответствиях:

1) один из (представитель рода предметов или лиц) — всякий, каждый из...;

2) заведомо неизвестный (с акцентом на то, что до сих пор об этом предмете или лице участники коммуникативного акта ничего не слышали) — какой-то, некий;

3) безразлично какой из данного рода предметов или лиц — любой.

Вместе с тем неопределенный артикль *bir*, который в его современном состоянии может рассматриваться как омоним соответствующего количественного числительного, никогда полностью не порывает связей с последним, сохраняя значение единичности. При этом могут возникать различного рода контаминации. Так, например, Г. Льюис приводит предложение: *Her gün bir gazeteyi okuyorum*, интерпретируя его

как 'Я каждый день читаю одну определенную газету' (т. е. речь идет об одном определенном экземпляре газеты определенного названия) [22. С. 248]. Следует учитывать также, что неопределенный артикль, за исключением значения неопределенности, является носителем ряда других значений, в частности значения экзистенциальности [4. С. 167—173].

И. И. Ревзин следующим образом определяет значения и функции неопределенного артикля: «Значение неопределенного артикля не исчерпывается сильной неопределенностью. Более того, основным его значением следует признать экзистенциальность, а именно указание на существование объекта и возможность его выделения из соответствующей предметной области» [4. С. 167]. Далее он отмечает, что «неопределенный артикль участвует не только в коммуникативном противопоставлении по определенности/неопределенности, оформляя новый элемент ситуации, но и в когнитивном (логическом) противопоставлении по экзистенциальности. Эта двойная нагрузка делает неопределенный артикль маркированным средством, а категорию неопределенности, складывающуюся из признаков экзистенциальности и неопределенности, — маркированной категорией» [4. С. 173]. О. И. Москальская справедливо подчеркивает сложность правил употребления артикля, которая объясняется «тем, что в каждом случае оно оказывается обусловленным взаимодействием ряда факторов, причем в различных случаях на первый план выступают различные функции артикля» [23. С. 127].

Довольно существенным представляется вопрос о смысловом различии позиционных вариантов неопределенного артикля в словосочетании типа *büyük bir ev* и *bir büyük ev*. Отмечая тройное значение и употребление числительного *bir* 'один' в качестве определения, А. Н. Самойлович выделяет «значение отсутствующего в русском языке „неопределенного члена“ — „один, некий“ и употребление „bir“ между определяемым и определением для подчеркивания определения» [24. С. 98—99].

В. А. Гордлевский, указывая, что неопределенность выражается словом *bir* 'один, какой-то', переводит словосочетание *bir güzel kız* как 'одна красивая девушка' и замечает далее, что, «находясь между определением и определяемым, оно (слово *bir*) сильнее оттеняет качество, выражаемое определением, напр.: *güzel bir kız* 'одна (необыкновенно) красивая девушка'» [25. С. 78].

Наиболее универсальное различие между двумя указанными типами словосочетаний было определено С. С. Майзелем. Он отмечал, что «первое сочетание акцентирует высказанное качество какого-то дома подчеркиванием того, что он большой; второе акцентирует неопределенность какого-то большого дома, о котором предстоит сказать еще кое-что» [13. С. 171]. Весьма существенной представляется также особенность словосочетаний типа *bir büyük ev*, заключающаяся часто (но далеко не всегда) в том, что слово *bir* ставится в них перед лексическим комплексом, в котором одно целостное понятие выражено двумя словами [13] (например, понятию «высшее учебное заведение» соответствует словосочетание *bir yüksek okul*, но не *yüksek bir okul*).

Вывод С. С. Майзеля о том, что *bir* в сочетании *büyük bir ev* иногда «теряет значение артикля» и «превращается в особую частицу» [14. С. 63], очевидно, имеет в виду лишь одну функцию неопределенного артикля — выражение собственно неопределенности в узком смысле этого слова, оставляя в стороне другие его функции: выражение избирательности одного из представителей данного рода предметов, субстантивирующую функцию, а также присутствующее в неопределенном артикле значение единичности. Вместе с тем в этой позиции функция подчеркивания определения иногда становится трудно уловимой и неопределен-

ный артикль *bir* приобретает функции «своеобразного интонационного знака» [12. С. 169]. Однако в сочетании *büyük bir ev* неопределенный артикль *bir* не утрачивает все-таки своего исходного значения. Во-первых, указанное сочетание выступает как неопределенное, что проявляется, в частности, в позиции прямого дополнения перед управляющим глаголом. Во-вторых, неопределенный артикль *bir* в данном словосочетании проявляет и такие свои значения, как экзистенциальность и актуализованность.

Очевидно, сравнительно редко встречаются сочетания с двукратным употреблением *bir*: *bir güzel bir kız* (Server Bedi. *Bir varmış, bir yokmuş*) 'одна красивая-прекрасная девушка'; *lâkin bir esir bir kimse-dir* (Kadı. *Bir sürgün*) 'но ведь он какое-то совершенно подневольное существо' [26] можно интерпретировать следующим образом: словосочетание *güzel bir kız*, в котором *bir* служит для подчеркивания определения с элементом эмпатичности, воспринимается условно как некое лексикализованное словосочетание 'раскрасавица-девица', перед которым в качестве показателя «цельнооформленности» последующего сочетания употреблен неопределенный артикль *bir*. Еще в большей мере такое «распределение ролей» ощущается во втором примере: описательное выражение *esir bir kimse* 'подневольное существо' (*esir kimse* означало бы 'пленный; раб') воспринимается как цельнооформленное лексикализованное сочетание, выражающее единое понятие, и как такое оформляется постановкой перед ним неопределенного артикля *bir*.

Широки и разнообразны функции неопределенного артикля *bir* как транспозитора [3. С. 188—189]. Он обладает как адъективирующей, так и субстантивирующей способностью. В первом случае для него характерна интерпозиция по отношению к двум существительным, первое из которых выражает признак: *ömür bir kadın* 'превосходная женщина'; *dehşet bir şey* 'ужасная вещь' и т. п. [13. С. 174—175]. Неопределенный артикль может использоваться также для субстантивации как отдельных слов, так и целых словосочетаний: *Ben bir acayıp oldum* (Faik. *Lüzumsuz adam*) 'Я стал чудачком'; *Size ayak üstünde bir allaha ısmarladık demeğe geldim* (Kadı. Ankara) 'Я пришел к вам на минуту, чтобы попрощаться'.

Функционирование категории определенности/неопределенности на синтаксическом уровне проявляется также в оформлении прямого дополнения при контактном и дистантном его расположении по отношению к управляющему глаголу. Эти закономерности зависят от коммуникативной перспективы предложения и от взаимосвязанных с ними семантико-синтаксических отношений, проявляющихся соотносительно с актуальным членением предложения.

Вопрос о форме прямого дополнения в зависимости от определенности или неопределенности объекта действия рассматривается в статье Э. В. Севортяна «Прямое дополнение в турецком языке». Проблему формы прямого дополнения Э. В. Севортян рассматривает в аспекте двух тенденций, наблюдающихся в позиционном расположении и соответствующем оформлении прямого дополнения: 1) стремление слиться в один лексический комплекс с управляющим глаголом и 2) стремление обособиться от управляющего глагола, чему и соответствует вин. падеж прямого дополнения. Прямое дополнение рассматривается при этом как предмет действия, если оно имеет форму вин. падежа, и как атрибут глагола, если оно стоит в форме осн. падежа [27. С. 81—104].

М. Эргин в синтаксическом аспекте выделяет определенное прямое дополнение (*belirli nesne*), выражающее известный объект, и неопределенное прямое дополнение (*belirsiz nesne*), выражающее соответственно впервые упоминаемый объект [17. С. 377—378]. По мнению М. Эргина,

прямое дополнение стоит всегда в вин. падеже, который может быть аффиксальным или безаффиксальным [17].

В. Г. Гузев и Д. М. Насилов отмечают, что особого рассмотрения заслуживает сочетание неопределенного артикля *bir* с вин. падежом прямого дополнения в позиции непосредственно перед глаголом [28. С. 24—25]. Прямое дополнение — существительное во мн. числе (с афф. *-lar/-ler*) в позиции непосредственно перед управляющим глаголом в принципе, в зависимости от определенности или неопределенности выражаемого прямого объекта, может иметь форму основн. или вин. падежа. В этом случае значение определенности/неопределенности иногда в значительной степени нейтрализовано.

С. Н. Иванов, приводя примеры сочетания неопределенного артикля *bir* с именами существительными — одушевленными и неодушевленными — в форме вин. падежа [16. С. 27], дает объяснение этой видимой коллизии. Такое объяснение состоит из двух пунктов: во-первых, нейтрализация значений определенности и неопределенности при отсутствии их противопоставления в одинаковой позиции в одном контексте и, во-вторых, двоякое противопоставление формы ед. числа с показателем *bir* мн. числу по линии «единичности вообще» — «множественности вообще» и по линии «неопределенной единичности» — «неопределенной совокупности любых предметов данного класса» [16]. Очевидно, в данном случае следует учитывать также специфический коммуникативный фактор — точки зрения говорящего и слушающего в процессе речи. Для инверсированного прямого дополнения, следующего за сказуемым предложения, также характерна форма вин. падежа [16. С. 28; 24. С. 98]. Эта закономерность находит объяснение в распределении смысловых акцентов высказывания.

Отмечая, что прямое дополнение, которому предшествует неопределенный артикль, не принимает аффикс вин. падежа, Ж. Дени приводит и ряд «исключений», которые заключаются в том, что прямое дополнение с неопределенным артиклем стоит в вин. падеже. Объяснение Ж. Дени этих исключений представляет интерес. Первое из таких исключений: *herifin biri kiraya almak istediği bir daireyi gezerken* 'когда один человек осматривал одну квартиру, которую хотел снять' Ж. Дени объясняет наличием определения, которое как бы «снимает» действие неопределенного артикля (переводчик и комментатор — Али Ульви Эльве возражает против такого объяснения) [29. С. 183]. Очевидно, в аналогичных случаях можно говорить об определенной нейтрализации неопределенности при сочетании неопределенного артикля и некоторых типов определений. Другой пример: *bana bir evi gösterdiler* 'мне показали один дом' Ж. Дени объясняет расхождением в апперцепции говорящего и слушающего, когда предмет, уже известный говорящему, воспринимается слушающим как неизвестный [29]. Наконец, в третьем случае: *bir çocuğu böyle yalnız bırakırlarmı?* 'разве оставляют вот так ребенка одного?' автор предлагает объяснение, согласно которому прямое дополнение в этом предложении особо акцентируется [29]. Однако следует заметить, что в третьем примере этот смысл не может быть выражен в другой форме: прямое дополнение, отделенное от управляющего глагола другими словами, всегда имеет форму вин. падежа. Согласно известной закономерности порядка слов в предложении то «новое», на что обращается внимание в предложении, ставится в турецком языке, как правило, перед сказуемым. Прямое дополнение, отделенное от управляющего глагола другими словами, не является «новым» в предложении, а выражает лицо или предмет, упоминавшийся ранее. Это дает основание поставить прямое дополнение в вин. падеже (*bi*

çosiği). Слово *bir*, сохраняющее здесь статус неопределенного артикля, не выражает неопределенности в ее непосредственном виде, а указывает на «представительство класса предметов». Неопределенный артикль *bir*, как указывалось выше, по-своему многозначен и в данном случае, не выражая сильную неопределенность, не препятствует употреблению прямого дополнения в вин. падеже. Подобные «противоречивые» случаи следует интерпретировать, отходя от коммуникативной сущности определенности/неопределенности и, очевидно, — при более углубленном истолковании, — от ее психолингвистической основы.

Чем же следует вообще объяснить обязательность оформления аффикса в вин. падеже прямого дополнения, дистантного по отношению к управляющему глаголу? Это, как известно, — правило, почти не знающее исключений. Однако такая закономерность не является формально-синтаксической. Приводимое обычно объяснение заключается в том, что прямое дополнение в данной позиции оформляется аффиксом вин. падежа потому, что в противном случае оно могло бы быть принято за подлежащее предложения, т. е. из соображений «защиты смысла». В прагматическом отношении это объяснение представляется в общем достаточно убедительным, хотя можно было бы задать вопрос, почему в принципе нельзя было бы принять за подлежащее прямое дополнение и при контактном расположении. Указанную закономерность в оформлении дистантного прямого дополнения можно рассматривать также с позиций актуального членения предложения, как это было сделано выше в отношении примера, приведенного в Грамматике Ж. Дени. Это представляется нам более убедительным.

Что же касается прямого дополнения — существительного в основн. падеже, то оно может быть отделено от управляющего глагола лишь такими словами, как частица *da, de* и некоторые модальные наречия, которые находятся в тесной непосредственной связи с глаголом: *Ama yine o içti. Bir sişe de ben getirttim (Faik. Menekşeli vadi) 'Но выпил опять он. Одну бутылку заказал и я'; Bulunmasına bulunur ağam, ama o köyün ahalisi biraz kuşkuludur. Yabancı pek sevmezler (Faik. Hancı'nın karısı) 'Найтись-то найдется, ага, но люди, живущие в этой деревне, недоверчивы. Они недолюбливают чужих'.*

Отношение вин. и род. падежей к категории определенности/неопределенности представляется различным. Винительный падеж прямого дополнения — как в дистантной, так и в контактной позиции — является непосредственным показателем определенного лица или предмета, являющегося объектом действия, родительный — лишь одним из тех определителей, которые обуславливают, предопределяют определенность лица или предмета. В этом отношении род. падеж может быть сопоставлен с указательными и притяжательными местоимениями, которые также обуславливают определенность своего определяемого. Однако следует учитывать и то обстоятельство, что детерминант, выраженный род. падежом существительного, сам может оказаться неопределенным, если перед ним стоит неопределенный артикль *bir*. Следовательно, в данном случае детерминант, сам оставаясь предметом или лицом неопределенным, придает своему определяющему определенность, реализуемую далее — в позиции прямого дополнения — формой вин. падежа.

С. Н. Иванов, полемизируя с исследователями, придерживающимися точки зрения, согласно которой альтернатива основн. и род. падежей, безусловно, соответствует противопоставлению неопределенности и определенности, писал: «Связывать основной падеж определения с категорией неопределенности... нет достаточных оснований, поскольку форму родительного падежа в изафете принимают и имена существи-

тельные с показателем *bir*» [16. С. 18]. Однако далее он указывает: «Имени существительному в родительном падеже всегда свойственны контекстуальная или ситуативная определенность, отождествленность с реальными предметами в обстановке речи» [16. С. 28]. Таким образом, если сравнить вин. и род. падежи в аспекте определенности/неопределенности, то выявляется следующее принципиальное различие между ними: вин. падеж в функции прямого дополнения является непосредственным показателем определенности (в противоположность основн. падежу в функции прямого дополнения), род. падеж представляет собой опосредственный способ выражения определенности: будучи определителем с большой определяющей силой, он обуславливает уже непосредственную определенность последующего существительного.

В сфере употребления род. падежа существительного в качестве определения служебного имени можно наблюдать еще одну существенную закономерность: род. падеж заменяется основным в тех случаях, когда служебное имя имеет не прямое — предметное, а косвенное — переносное значение. В первом случае характерно употребление род. падежа существительного-определения: *Kalemi masanin üzerine koydum* [30. С. 826] 'Я положил ручку на стол', во втором случае существительное-определение стоит в основн. падеже: *dil üzerine bir yazı* 'статья о языке' [30]. При этом употребление неопределенного артикля *bir* перед существительным-определением, предшествующим послелогу-имени, часто сочетается именно с род. падежом первого. Поэтому вполне обычными являются словосочетания следующего типа: *büyük bir ağacın altında* 'под большим деревом' и т. п. Например: *Ona ait bir arsanın üzerine Ali Hoca vaktile bir bina yaptırmıştı* (Seyfeddin. Rüşvet) 'На принадлежащем ему земельном участке Али Ходжа в свое время построил дом'.

Уместно напомнить, что С. С. Майзель не без оснований усматривал определенную «антиномию» в словосочетании *bir kadının şarkası* [14. С. 65]. Ж. Дени предостерегал от слишком прямолинейного подхода к истолкованию двухаффиксного и одноаффиксного изафетов с точки зрения определенности/неопределенности, при котором наличие род. падежа существительного, являющегося определением, рассматривается как показатель определенности [29. С. 736].

Родительный падеж существительного (подобно указательным и притяжательным местоимениям) в качестве определения обладает настолько высокой «определяющей силой» [31], что даже постановка неопределенного артикля *bir* перед этим определением не может устранить «сильную определенность», вызываемую отношениями принадлежности. Именно таким образом «снимается» та антиномия, о которой говорит С. С. Майзель [14. С. 65]. С другой стороны, не во всех случаях такие определители могут в полной мере проявить свою «определяющую силу» и обусловить определенность существительного, перед которым они стоят. Особенно часто на статус таких словосочетаний влияет постановка неопределенного артикля *bir*, который в значительной степени нейтрализует определенность, приносимую даже «сильным определителем».

Наряду с указательными местоимениями высокой определяющей силой обладают притяжательные местоимения, сочетающиеся с соответствующими аффиксами принадлежности. В известной мере с притяжательными местоимениями может быть сопоставлен род. падеж существительных, сочетающийся с аффиксами принадлежности 3-го лица [33]. Для всех перечисленных случаев в позиции прямого дополнения перед

управляющим глаголом характерно оформление вин. падежом, что является наиболее эксплицитным морфолого-синтаксическим признаком определенности.

П Р И М Е Ч А Н И Я

- ¹ Серебренников Б. А. Общие вопросы артикля и проблема семантики употребления артикля в древнегреческом языке: Дис. ... канд. филол. наук. М., 1949.
- ² Москальская О. И. К вопросу о генезисе категории артикля // Тр./Воен. ин-т иностр. яз. М. 1945. № 1.
- ³ Габучан Г. М. Теория артикля и проблемы арабского синтаксиса. М., 1972.
- ⁴ Ревзин И. И. Структура языка как моделирующей системы. М., 1978.
- ⁵ Хасанов А. Азәрбајҹан дилиндә мۆәјҹәнлик вә гејри-мۆәјҹәнлик категоријасы. Баки, 1970.
- ⁶ Рамstedт Г. И. Введение в алтайское языкознание: (Морфология) // Пер. с нем. М., 1957.
- ⁷ Котвич В. Исследование по алтайским языкам / Пер. с польск. М., 1952.
- ⁸ Deny J. Grammaire de la langue turque: Dialecte osmanli. Paris, 1921.
- ⁹ Дмитриев Н. К. Строй турецкого языка. Л., 1938.
- ¹⁰ Он же. Грамматика башкирского языка. М.; Л., 1948.
- ¹¹ Он же. Детали простого предложения // Исследования по сравнительной грамматике тюркских языков. М., 1961. Ч. 3: Синтаксис.
- ¹² Кононов А. Н. Грамматика современного турецкого литературного языка. М.; Л., 1956.
- ¹³ Майзель С. С. Категория дефинитивности в турецком языке // Академику В. А. Гордлевскому к его семидесятипятилетию. М., 1953.
- ¹⁴ Он же. Изафет в турецком языке. М., 1957.
- ¹⁵ Иванов С. Н. «Родословное древо тюрков» Абу-л-Гази-хана: Грамматический очерк: (Имя и глагол. Грамматические категории). Ташкент, 1969.
- ¹⁶ Он же. Курс турецкой грамматики. Л., 1975. Ч. 1.
- ¹⁷ Ergin M. Türk dil bilgisi. İstanbul, 1962.
- ¹⁸ Чейф У. Л. Значение и структура языка / Пер. с англ. М., 1975.
- ¹⁹ Леонтьев А. А. Психолингвистические единицы и порождение речевого высказывания. М., 1969.
- ²⁰ Дмитриев Н. К. Турецкий язык. М., 1960.
- ²¹ Возможность постановки показателя неопределенности *bir* перед существительными во мн. числе обманивая: *bir şeyler* или *bir kimseler* представляют собой форму мн. числа от прономинализированного *birşey* 'нечто' и *bir kimse* 'некто': [*birşey*]ler, [*birkimse*]ler.
- ²² Lewis G. L. Turkish grammar. Oxford, 1967.
- ²³ Москальская О. И. Грамматика немецкого языка. М., 1956.
- ²⁴ Самойлович А. Краткая учебная грамматика современного османско-турецкого языка. Л., 1924.
- ²⁵ Гордлевский В. А. Грамматика турецкого языка. М., 1928.
- ²⁶ Примеры С. С. Майзеля [13. С. 175].
- ²⁷ Севортян Э. В. Прямое дополнение в турецком языке // Вестн. МГУ им. М. В. Ломоносова. 1948. № 12.
- ²⁸ Гузев В. Г., Насилов Д. М. Конкретно-предметные значения тюркского имени существительного как зона релевантности категорий числа и определенности — неопределенности // Сов. тюркология. 1971. № 5.
- ²⁹ Deny J. Türk dili grameri: (Osmanli lehçesi) / Tercüme eden U. Elöve. İstanbul, 1941.
- ³⁰ Türkçe sözlük. Ankara, 1974.
- ³¹ В связи с этим некоторые исследователи рассматривают аффикс род. падежа как «артиклоид» [32].
- ³² Беглярбекова А. А. Артиклевая функция родительного и винительного падежей и слова *бир* в современном азербайджанском языке: Автореф. дис. ... канд. филол. наук. М., 1971.
- ³³ Об артиклевой функции аффикса принадлежности 3-го лица см.: [34. С. 92—96].
- ³⁴ Grönbech K. Der türkische Sprachbau. Kopenhagen, 1936. 1.

ФОЛЬКЛОР. ЛИТЕРАТУРА. КУЛЬТУРА

Н. Дж. МАМЕДОВ

М. Ф. АХУНДОВ

(К 175-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ)

Мирза Фатали Ахундов — гениальный сын азербайджанского народа, выдающийся представитель культуры Азербайджана нового времени. Писатель, заложивший основы новых для азербайджанской литературы жанров — драматургии, прозы, литературной критики, М. Ф. Ахундов был и выдающимся мыслителем, философом-материалистом, крупным общественным деятелем, сыгравшим громадную роль в формировании и развитии идеологии Просвещения в Азербайджане, а также в странах Ближнего Востока. Как Лессинг, о котором Н. Г. Чернышевский писал, что он в истории Германии является «началом всех начал», так и Ахундов в своем творчестве впервые отразил и воплотил все новые идеи, проблемы, искания и стремления в художественной, философской, общественно-политической, этической и эстетической мысли Азербайджана XIX столетия.

М. Ф. Ахундов жил и творил в очень сложный, противоречивый период в истории Азербайджана и мусульманского Востока в целом. Во второй половине XIX в. в Азербайджане и в странах Ближнего Востока патриархально-феодальное общественное устройство, феодально-религиозная идеология и мораль пережили глубокий кризис, закладывались основы новых, буржуазных отношений, новой идеологии и нравственных представлений. Противоречия и конфликт между яркими сторонниками старого феодального мира и представителями зарождающегося нового мира, выражавшие интересы широких слоев народа, в этих странах обрели очень острый, непримиримый характер. В своих произведениях М. Ф. Ахундов глубоко и всесторонне раскрыл именно эти важные особенности, проблемы переходного периода в жизни азербайджанского народа и народов Ирана и Турции.

По своему мировоззрению, идейной направленности своего творчества М. Ф. Ахундов принадлежит к великой плеяде деятелей западно-европейского Просвещения XVIII в. и русского просветительства 40—60-х годов XIX в. Как и западно-европейские и русские просветители, всю свою жизнь, талант, многогранное творчество он посвятил борьбе за просвещение, гуманизм, свободу, процветание и счастье народа. «Наша цель, — писал он в одном из писем к своему единомышленнику, — заключается в том, чтобы высоко поднять знамя свободы, справедливости и дать народу возможность мирно строить свою жизнь, идти к благоденствию и достичь зажиточного существования».

М. Ф. Ахундов родился в 1812 г. в городе Нухе (ныне Шеки) в семье мелкого купца. Когда Фатали исполнилось семь лет, мать его разошлась с отцом и воспитанием мальчика занялся дядя матери, известный нухинский религиозный деятель Хаджи-Алескер. Под руко-

водством своего опекуна, «второго отца», как называл его Ахундов в своих письмах, высокообразованного, душевно благородного человека, горячо любившего своего юного питомца, Фатали на протяжении пятнадцати лет изучает азербайджанский, персидский и арабский языки, мусульманское богословие, знакомится с творчеством видных представителей восточной классической литературы и философии.

В 1832 г. он продолжает свое образование в духовной школе Гянджи (ныне Кировабад), где среди его преподавателей был выдающийся азербайджанский поэт-вольнодумец, лирик Мирза Шафи Вазех (1792—1852). Под влиянием общения с ним у М. Ф. Ахундова возникает неприязнь к религиозно-схоластическому учению и пробуждается глубокий интерес к светским наукам.

В 1833 г. Ахундов учится в русской школе в Нухе, а через год приезжает в Тифлис и поступает на службу в канцелярию Главного управляющего гражданской, а впоследствии и военной частью Кавказа в качестве переводчика восточных языков, где и работал до конца жизни. М. Ф. Ахундов принимает активное участие в военно-дипломатических переговорах между Россией и Ираном, Россией и Турцией, в Крымской кампании 1853—1856 гг., выполняет ряд ответственных гражданских поручений царской администрации.

За годы службы у Ахундова складываются дружеские отношения с известными азербайджанскими писателями — А. Бакихановым, И. Куткашенским, К. Закиром, родоначальником новой армянской литературы Х. Абовяном, грузинским поэтом Н. Бараташвили, писателями Г. Эристави, Н. Бердзенишвили, Г. Орбелиани, А. Чавчавадзе, писателями-декабристами А. Бестужевым-Марлинским, А. Одоевским, находившимися в ссылке на Кавказе, с поэтом И. И. Климентьевым, а впоследствии и с видными русскими востоковедами Ад. Берже, Н. В. Ханьковым, историком Н. Ф. Дубровиным, поэтом Я. Полонским, писателем В. А. Соллогубом и т. д.

С первых лет жизни в Тифлисе М. Ф. Ахундов уделяет особое внимание углублению своих знаний в области восточной литературы и истории, начинает изучать русскую и западно-европейскую литературу, знакомится с трудами видных европейских философов, историков и естествоиспытателей, таких, как Эразм Роттердамский, Спиноза, Монтескье, Вольтер, Руссо, Гольбах, Ренан, Гельвеций, Бокль, Барту, Минье, Гизо, Тьер, Милль, Дарвин и др. Все это оказывает громадное, благотворное влияние на формирование мировоззрения, расширение эстетического кругозора М. Ф. Ахундова, на его будущее творчество.

В 50—70-е годы М. Ф. Ахундов принимал активное участие в культурной и общественной жизни Закавказья. Он сотрудничал в газете «Кавказ», где печатал свои комедии и повесть «Обманутые звезды», стихотворение «Письмо известному карабахскому поэту Касум-беку Закиру», статью «Положение турецкой армии под Багдадом в 1618 году». Ахундов избирается членом-сотрудником Кавказского отделения Российского географического общества, членом археографической комиссии для обследования закавказских и кавказских архивов. По инициативе Ахундова было открыто татарское (азербайджанское) отделение Горийской учительской семинарии. Большое содействие оказал он в издании первой азербайджанской газеты «Экинчи» («Пахарь»), на страницах которой опубликовал ряд статей, посвященных проблемам народного просвещения. На протяжении более двадцати лет Ахундов вел переписку с видными писателями, историками, философами, общественными и государственными деятелями Азербайджана, России, Ирана и Турции. Письма, докладные записки, прошения М. Ф. Ахун-

дова составляют целый том его собрания сочинений и являются ценным источником для исследования его творчества.

М. Ф. Ахундов умер 27 февраля (9 марта) 1878 г. и похоронен в Тифлисе.

Творческое наследие его огромно, это целый пласт в истории художественной, философской, общественно-политической, этической и литературно-критической мысли Азербайджана.

Первое художественное произведение М. Ф. Ахундова, дошедшее до нас в рукописи, — стихотворение «Жалоба на время», написанное на персидском языке в 1832—1833 гг. накануне переезда Мирзы Фатали из Нухи в Тифлис. Оно создано в традициях классической восточной поэзии, в форме месневи и напоминает широко распространенные в восточной литературе традиционные «Шикает-наме» — жалобы поэтов на судьбу, на время.

В этом произведении превалируют автобиографические мотивы, в нем нашли отражение переживания и раздумья молодого М. Ф. Ахундова, находившегося в тот период на перепутье. Автор задается вопросами: как жить дальше, чему посвятить жизнь, где найти применение своим способностям.

Второе дошедшее до нас в оригинале поэтическое произведение М. Ф. Ахундова — «Восточная поэма на смерть Пушкина». Весть о грагической гибели А. С. Пушкина глубоко потрясла молодого азербайджанского поэта. Его поэма проникнута горячей любовью к великому русскому поэту. Гневно заклеймив убийц Пушкина, он горько оплакивает его безвременную кончину.

Вся русская земля рыдает в скорбной муке, —

Он лютым палачом безжалостно убит.

Он правдой не спасен — заветным талисманом —

От кривды колдовской, от козней и обид.

Он в дальний путь ушел и всех друзей покинул,

Будь милосерд к нему, аллах! Он крепко спит.

Пусть вечно плачущий фонтан Бахчисарая

Благоуханьем слез две розы окропит.

Справляет траур свой, о Пушкине скорбит!

(Перевод Павла Антокольского)

Поэма насыщена элементами восточного романтизма, великолепными сравнениями, метафорами, эпитетами, яркой и причудливой ornamentацией стиха.

«Восточная поэма на смерть Пушкина» в подстрочном переводе, выполненном самим Ахундовым, была опубликована в мартовском номере журнала «Московский наблюдатель» за 1837 г. В небольшом примечании редакция высоко оценила произведение молодого азербайджанского поэта, подчеркнув тягу и любовь автора к русской литературе и культуре.

Известен целый ряд лирических стихотворений — гошм и мухаммас М. Ф. Ахундова, написанных им в 40-е годы на азербайджанском языке в традициях народно-ашугской поэзии, в частности в манере М. П. Вагифа (1717—1795) и К. Закира (1784—1857). В них он воспевает земную любовь, реальную возлюбленную. И в последующие годы М. Ф. Ахундов не раз возвращался к поэтическому творчеству, он написал на родном и на персидском языках стихотворные послания, газели, оды, сатирические и дидактические стихи.

М. Ф. Ахундов — замечательный, самобытный драматург, родоначальник национальной драматургии.

Знакомство с лучшими спектаклями тифлисского русского театра, который был открыт в 1845 г., и где в числе других пьес шли комедии Мольера и Гоголя, оказало огромное влияние на М. Ф. Ахундова, пробудило у него интерес к драматическому искусству, стремление постичь и выразить природу комического. Присущие ему чувство юмора, тонкая ирония позволили М. Ф. Ахундову выявить подлинную комическую сущность многих реальных событий и явлений, человеческих характеров, достичь вершин социальной обличительности.

В начале 50-х годов он написал шесть оригинальных комедий: «Молла Ибрагим-Халил алхимик, обладатель философского камня» (1850), «Мусье Жордан, ученый-ботаник, и дервиш Мастали-шах, знаменитый колдун» (1850), «Медведь, победитель разбойника» (1851), «Везир Ленкоранского ханства» (1851), «Приключение скряги» (1852) и «Адвокаты города Тебриза» (1855), заложив тем самым прочные основы жанра драматургии не только в азербайджанской литературе, но и в литературах стран мусульманского Востока.

М. Ф. Ахундов правильно определял задачи и требования драматического искусства, сознавая его мощное идейное влияние, блестяще знал законы, «тайны» комедийного жанра.

Темы, сюжеты всех своих комедий Ахундов брал из современной ему азербайджанской действительности, и его комедии — это широкая панорама жизни народа, знакомящая с бытом, нравами, обычаями, семейными и социальными отношениями, психологией различных слоев и социальных групп общества. В комедиях драматург высмеивал отсталые феодально-патриархальные взгляды и институты, схоластику старого мышления, застывший догматизм духовенства, прославлял честный, полезный для общества труд, человеческий разум, утверждал гуманистические идеи. Им создана целая галерея живых, полнокровных художественных образов, представляющих различные слои и социальные группы азербайджанского общества. Особенно ярки, выпуклы его отрицательные персонажи. В своей первой комедии в образе алхимика Моллы Ибрагим-Халила Ахундов ярко и великолепно выписал характер, нравы, поведение приверженцев схоластической науки. «Герой» второй комедии дервиш Мастали-шах воплощал в себе черты невежественных, паразитирующих на жизни народа шарлатанов. В комедии «Медведь, победитель разбойника» (первый вариант) деревенский священнослужитель *Молла Шабан* — символ религиозного фанатизма, отсталости и косности. В образах хана и везира Мирзы Габиба из комедии «Везир Ленкоранского ханства» были обобщены типические черты феодальных правителей, их деспотизм, произвол, невежество. Гейдарбек из комедии «Приключение скряги» концентрирует в себе такие качества, присущие бекам — представителям азербайджанского дворянства, как праздность, пренебрежительное отношение к честному труду, отсутствие гражданских и нравственных идеалов. В образе *Хаджи-Кары* этой комедии были раскрыты нравы и психология купцов, обретавших в середине XIX в. уже основные черты зарождающейся национальной буржуазии. Наконец, в образе адвоката Аги Мардана в последней своей комедии «Адвокаты города Тебриза» Ахундов высмеивал взяточничество, беззаконие судебных чиновников. Все эти взятые из жизни и созданные талантом и творческим воображением драматурга персонажи точно отражали эпоху. Образы, выходя за пределы своей эпохи, становились нарицательными.

В своих комедиях М. Ф. Ахундов, подвергая резкой критике основы и пороки феодального общества, страстно пропагандирует идеи Просве-

щения. Он высоко ценит человеческий разум, призывает к овладению светскими науками и приобщению к передовой общеевропейской культуре, выступает за свободу человеческой личности. В творчестве М. Ф. Ахундова, как и других просветителей, важное место занимает тема труда, общественно-полезной деятельности человека. Рупором этих просветительских взглядов М. Ф. Ахундова являются положительные герои его произведений. В комедии «Алхимик» в образе поэта Хаджи-Нури он воспевает разум, пользу честного труда. Образ французского ученого-естествоиспытателя мусье Жордана из комедии «Мусье Жордан и дервиш Мастали-шах» символизирует успехи европейской науки. В образе молодого героя той же комедии — Шахбаз-бека М. Ф. Ахундов с большой симпатией отразил тягу образованной азербайджанской молодежи к европейской культуре. В комедии «Везир Ленкоранского ханства» невежественным и глупым правителям противостоит молодой принц Теймур-ага, отличающийся умом, честностью, храбростью. В «Приключении скряги» в образах крестьян прославляется труд земледельцев. В последней же комедии «Адвокаты города Тебриза» молодые герои Секина-ханум и Азиз-бек являются выразителями новых идей, борются за свою любовь, за право и счастье и духовную свободу.

Женские образы в комедиях М. Ф. Ахундова воплощают в себе типичные черты представительниц различных социальных слоев азербайджанского общества: «Шарафниса-ханум и Шахрабану-ханум (комедия «Мусье Жордан и дервиш Мастали-шах») принадлежат к богатому кочевому аристократическому роду. Парзад и Залха («Медведь, победитель разбойника») — крестьянского происхождения, Зиб-ханум, Шоле-ханум и Ниса-ханум («Везир Ленкоранского ханства») относятся к высшей феодальной знати, Сола-ханум («Приключение скряги») — дочь богатого помещика, Тюкез (из той же пьесы) — жена провинциального купца и, наконец, Секина-ханум и Зубейда («Адвокаты города Тебриза») — из богатой купеческой городской семьи.

Все эти героини выписаны живо, с глубоким проникновением в их психологию. Комедиографу удалось очень верно передать нравы и обычаи, думы и чаяния, душевные порывы и стремления азербайджанских женщин своего времени, раскрыть их положение в семье и обществе.

Комедии М. Ф. Ахундова отличаются высокими художественными достоинствами. Автор искусно подчинил форму, композицию своих комедий раскрытию их идей, характеристики персонажей.

М. Ф. Ахундов смело разворачивал действие во времени и пространстве, как и русские писатели-реалисты, не признавал каких-либо ограничивающих творчество правил и канонов знаменитого триединства, присущих драматургии классицизма. Он включал в свои пьесы авторские отступления, вводил персонажи, которые, даже не участвуя в сюжетной интриге, способствовали созданию широкого фона действия, более глубокому раскрытию как характеров основных образов, так и идей произведения.

Комедии Ахундова стали весьма примечательным явлением и в истории азербайджанского языка.

М. Ф. Ахундов писал их живым, гибким, метким и выразительным народным языком, насыщенным народными словами и выражениями, пословицами и поговорками, идиоматическими оборотами и фразеологизмами. Особо следует отметить, что большая часть этих лексических и фразеологических новшеств была введена в азербайджанскую литературу впервые именно М. Ф. Ахундовым, что расширило выразительные средства и возможности национального литературного языка и предопределило направление его будущего развития.

Создавая в своих комедиях образы представителей разных слоев и социальных кругов азербайджанского общества, М. Ф. Ахундов мастерски наделял их колоритными, выразительными словесными характеристиками, правдиво воспроизводя их лексикон, речевую манеру и стиль выражения мыслей. Каждый его персонаж обладает индивидуализированной, присущей только ему речью. Благодаря блестящему владению родным языком, умению пользоваться неисчислимым богатством народной разговорной речи, особенностями языка, стиля, диалектами, городским жаргоном Ахундов искусно гипотизировал и индивидуализировал речь своих персонажей, приведя ее в полное соответствие с их характером, социальной принадлежностью. М. Ф. Ахундов — непревзойденный мастер речевой характеристики в азербайджанской драматургии.

В целом язык комедий М. Ф. Ахундова — это живой литературный азербайджанский язык середины XIX в., и автор по праву считается основоположником современного литературного азербайджанского языка. Высоко оценивая заслуги М. Ф. Ахундова в истории развития азербайджанского литературного языка, академик Мамед Ариф указывал, что «только одной этой заслуги было достаточно, чтобы обессмертить имя Ахундова в памяти азербайджанского народа» [2. С. 395].

В 1857 г. М. Ф. Ахундов написал философско-публицистическую повесть «Обманутые звезды», ставшую этапной не только для его творчества, но и для всей азербайджанской литературы. По существу, именно с этого произведения начинается история становления и развития современной азербайджанской художественной прозы.

По идейно-тематическому содержанию «Обманутые звезды» М. Ф. Ахундова живо перекликаются с философскими повестями великих французских просветителей — Монтескье, Вольтера и Дидро.

В основу сюжета повести М. Ф. Ахундов положил событие, происшедшее в Иране во времена правления шаха Аббаса (1587—1629), о котором подробно было рассказано в книге иранского историка Искендер-бека Мунши «Тарихи-алем-арайи-Аббаси». Само собой разумеется, что повесть Ахундова не является простым переложением. На основе исторического факта, носящего несколько неправдоподобный, можно сказать, анекдотический характер, однако вполне соответствующего нравам средневекового Ирана Мирза Фатали создал замечательную, оригинальную художественную повесть, вдохнув в нее глубокое общественно-политическое содержание.

Несмотря на сюжет, построенный на историческом событии, «Обманутые звезды» никак нельзя отнести к исторической литературе, ибо автор не задавался целью точно воспроизвести особенности социально-политической жизни Ирана конца XVI—начала XVII в. Главные герои повести — шах Аббас и седельник Юсиф очень далеки от своих реальных прототипов. Есть достоверные свидетельства о том, что хотя шах Аббас и отличается крайним деспотизмом, тем не менее он не был невежественным и бездарным правителем, каким представлен в ахундовской повести. Напротив, шах Аббас был умным, талантливым правителем, обладал сильным и энергичным характером. Он укрепил централизованную государственную власть в Иране, находившемся в тяжелом политическом и экономическом положении во время правления Мухаммед-шаха, отца шаха Аббаса, восстановил былое могущество Сефевидского государства, основанного в начале XVI в. шахом Исмаилом. В годы правления шаха Аббаса оживилась экономическая, политическая и социальная жизнь Ирана, более благоприятными стали условия для развития земледелия и ремесел, расширилась торговля Ирана со странами Западной Европы. Именно в эти годы Иран становится одним из

наиболее могущественных государств на Ближнем Востоке. Прототип образа седельника Юсифа, в котором Ахундов воплотил идеи просвещенного монарха, был сторонником религиозно-реформаторского течения «ногтави».

Здесь необходимо отметить, что и сам Ахундов в своей статье «Положение турецкой армии под Багдадом в 1618», опубликованной в газете «Кавказ» в 1853 г. (№ 54, 55), высоко оценил деятельность шаха Аббаса как правителя и военачальника [2. С. 262—283].

Однако все это никоим образом не дает нам права приписывать Ахундову сознательное искажение исторических фактов. Он не ставил перед собой цель создать историческое произведение в общепринятом смысле этого слова. В своей повести «Обманутые звезды» он стремился изобразить государственную, политическую и социальную жизнь Ирана, создать образы современных ему иранских правителей и выдвигал идеи, занимавшие передовые умы той эпохи.

Пороки и противоречия феодально-деспотического строя Ирана писатель раскрывает в образах правителя шаха Аббаса, главного везира Мирзы Мохсуна, государственного казначея Мирзы Яхья-хана, главнокомандующего иранской армией Заман-хана и главного моллы Ахунда Самеда.

Писатель рисует шаха скупыми, но достаточно выразительными красками. Примечательно, что он не подвергает шаха Аббаса прямой, открытой критике, но она заключена в самом контексте произведения. Только лишь в финале повести М. Ф. Ахундов открыто выразил свое отношение к шаху Аббасу, едко высмеяв его невежество, осудив деспотизм и жестокость.

Резко отрицательными чертами наделены в «Обманутых звездах» и образы других представителей феодально-деспотической власти. Характеры, поведение этих персонажей писатель также не детализирует. Их поступки и нрав раскрываются, когда описывается сцена в высшем государственном совете, где они обсуждают, как спасти шаха от смертельной опасности, нависшей над ним из-за рокового расположения звезд.

Каждый из придворных говорит о своих «великих заслугах» перед шахом и страной, однако читатель убеждается, что именно шах и его министры — виновники существующего в иранском государстве зла и несчастий народа. Противопоставляя внешнее благообразие этих людей их подлинным качествам — невежеству, тупости, духовной убогости, М. Ф. Ахундов добивается поразительного комического эффекта, возводит его до сатирического обличения.

Смело и резко отвергая принципы феодально-деспотической власти и исходя из концепции просветительского лозунга «мнение правит миром», Ахундов в своей повести в образе Юсиф-шаха, реформатора, по воле случая ставшего верховным правителем Ирана, воплощает свой идеал правителя нового типа, выразителя и защитника идей Просвещения.

Писатель мечтал, чтобы страной правил разумный, просвещенный, гуманный монарх, и в своей повести выдвигает программу устройства такого государства. Надо сказать, что в конце 50-х—начале 60-х годов Ахундов был горячим сторонником идей просвещенной монархии.

В «Обманутых звездах» Ахундов, выразив новые, передовые идеи, сумел облечь их в высокохудожественную форму. Единство содержания и формы является одной из особенностей произведения, по праву принадлежащего к лучшим образцам философско-просветительской прозы не только азербайджанской, но и мировой литературы.

Ахундов впервые на мусульманском Востоке поднял вопрос о необходимости реформы арабского алфавита, в трудности изучения которого видел большое и серьезное препятствие на пути распространения грамотности и просвещения в народе. В 1857 г. он посвятил этому научный труд, в котором подробно разбирает недостатки арабского алфавита, доказывает сложность его усвоения учащимися, предлагает проект нового алфавита на основе арабского. Впоследствии он отказался от этого проекта и создал на базе латинской графики совершенно новый алфавит. Более двадцати лет Ахундов вел смелую, последовательную борьбу за реформу алфавита, однако его идеи встретили яростное сопротивление со стороны иранских и турецких правителей, духовенства.

Громадна роль М. Ф. Ахундова в становлении и развитии литературной критики как самостоятельной области словесности. Написав целый ряд статей — «Указатель к книге», «О поэзии», «Критические заметки», «Редактору газеты „Миллет“ Высокого Ирана», «Критика пьес Мирзы-Аги», «Критика „Ек кельме“» («Одно слово»), «О моллай-Руми и его произведении» и другие, он заложил основы литературной критики в азербайджанской литературе, а также в литературах стран Ближнего Востока, в частности Ирана; в своем философском трактате «Письма Кемал-уд-Довле» и в письмах к современникам он изложил свои взгляды на проблемы художественной литературы.

В «Письмах Кемал-уд-Довле» Ахундов резко и смело выступал против восточной придворно-эпигонской и религиозно-мистической поэзии, выдвигал и горячо защищал принципы материалистической эстетики и реалистической литературы.

Отстаивая материалистический взгляд на искусство, М. Ф. Ахундов прежде всего подвергал критике эстетические концепции восточных мыслителей-идеалистов о божественном, сверхъестественном начале творчества. Он утверждал, что литературные произведения являются плодом деятельности одаренных от природы людей: «Всякое изящное и красноречивое творение есть непременно плод врожденного таланта какого-нибудь человека» [З. С. 45]. И далее: «Изящная проза и изящная поэзия, не относясь к разряду сверхъестественных явлений, вполне доступны человеческому таланту. Подтверждением этому могут служить Гомер, Шекспир и другие знаменитые европейские писатели, ораторы и поэты, которые все были не сверхъестественными существами, а подобными нам людьми» [З. С. 44—45].

Говоря о произведениях придворно-эпигонских писателей, Ахундов отмечал их оторванность от реальной действительности, враждебность интересам народных масс. «Поэзией у них, — писал он, — считается всякое произведение фантазии, написанное с соблюдением известного размера и рифмы, содержание которого, по их мнению, должно преимущественно заключаться в прославлении красавиц различными неестественными похвалами или же в воспевании красот весны и осени неправдоподобными сравнениями» [З. С. 44].

М. Ф. Ахундов подвергал резкой критике также религиозно-мистическую поэзию, которая, по его словам, «вертелась вокруг разных религиозных обрядов и правил» [З. С. 43] или состояла «из отвратительных легенд о мнимых чудесах двенадцати имамов, потомков пророка и других лжесвятых мужей» [З. С. 44]. Раскрывая антинародную сущность религиозно-мистической поэзии, он утверждал, что она уводит читателя от реальной действительности, отвращает его от всего прекрасного, воспитывает фанатизм, терпимость к несправедливости и произволу, способствуя духовному закабалению человека.

Отстаивая необходимость тесной связи литературы с реальной действительностью, он писал, что литературные произведения должны отражать «действительную жизнь народа», «характеры и действия людей», «человеческую природу и психологию», заключать в себе глубокое и правдивое содержание, быть насыщенными социальными идеями, показывать «события, дух современности».

Таким образом, М. Ф. Ахундов в своих литературно-критических работах важнейший вопрос художественного творчества — отношение к реальной действительности — решал с позиций материалистической эстетики и реалистического искусства.

Выступая против сторонников теории «чистого искусства», он утверждал, что задача искусства заключается не в развлечении кучки представителей господствующих классов; оно должно защищать интересы широких народных масс, содействовать их освобождению от влияния средневековых предрассудков и религиозного фанатизма, пробуждать в них общественное сознание, способствовать их духовному и культурному развитию. Назначение искусства — «просветить память и разум человека», «исправлять нравы и характеры людей».

Непреходящую ценность имеют мысли М. Ф. Ахундова о проблемах взаимосвязи содержания и формы в художественной литературе. Важнейшим компонентом он считал содержание, его идейную сущность, гражданственность, воспитательное воздействие на читателя. Такая концепция определялась просветительскими взглядами писателя. По мнению Ахундова, «если в поэзии имеется красота содержания, но отсутствует изящество изложения (как, например, „Месневи“ моллай-Руми), такие стихи приемлемы...» [З. С. 237].

Примечательно и отношение М. Ф. Ахундова к художественной форме литературного произведения. Он органически не приемлет произведений, в которых «красоты изложения» являются самоцелью: «Если... стихи обладают достаточным изяществом изложения, но лишены красоты содержания, подобно стихотворениям тегеранца Гаани, то такие стихи являются слабыми и наводят тоску» [З. С. 237].

Совершенными произведениями литературы М. Ф. Ахундов считал те, где содержание и художественная форма составляли органическое целое. «Поэзия, где имеется полная гармония, где наряду с художественной изящностью изложения, красотой имеется и глубокомыслие... такая поэзия способна вызвать у читателя восторг, она может взволновать читателя, может нравиться всем» [З. С. 274]. Творения корифеев восточной литературы — «Шах-наме» Фирдоуси, «Хамсе» Низами, «Диван» Хафиза он считал именно такими произведениями.

Ведя борьбу за утверждение критического, реалистического направления в азербайджанской и персидской литературах, Ахундов решительно выступал против устаревших видов и жанров классической восточной поэзии и горячо пропагандировал новые литературные формы — роман и драму: «Времена „Гюлистана“ и „Зинатиль-меджалиса“ канули в вечность. Сегодня такие произведения не могут уже принести народу пользу. Ныне полезными, отвечающими вкусу читателя и интересам нации произведениями являются драма и роман» [З. С. 275].

В литературно-критических статьях М. Ф. Ахундова имеются интереснейшие высказывания о сатире, художественной критике, стиле и языке литературы и т. д.

М. Ф. Ахундов снискал признание как выдающийся философ, идеолог азербайджанского и в целом восточного Просвещения. В 1863 — 1865 гг. он написал философский трактат «Три письма индийского принца Кемал-уд-Довле к персидскому принцу Джелал-уд-Довле и от-

вет на них последнего» — одно из замечательных, острых и глубоких произведений просветительно-демократической, атеистической литературы не только в Азербайджане, но также на Ближнем и Среднем Востоке. Это произведение М. Ф. Ахундова может быть поставлено в один ряд с философскими трудами выдающихся французских просветителей XVIII в.

В «Письмах Кемал-уд-Довле» и других философских и общественно-политических статьях М. Ф. Ахундова, написанных в конце 60-х — начале 70-х годов, ярко, глубоко и всесторонне были выражены основные идеи идеологии Просвещения, выдвинутые деятелями Просвещения Франции XVIII в. и русскими просветителями 40—60-х годов XIX в.

В своих философских трудах великий азербайджанский мыслитель ниспровергает основные институты феодально-деспотической власти — администрацию, финансы, юриспруденцию, армию, систему воспитания.

Описывая положение Ирана 50—60-х годов XIX столетия, М. Ф. Ахундов показывает, что экономическая, политическая, социальная жизнь страны находится в кризисном состоянии: города и деревни совершенно разорены, промышленность, ремесленничество, торговля и земледелие переживают глубокий упадок, народ влечет жалкое существование. В Иране во всех сферах государственной власти господствуют невежество, произвол, беззаконие, взяточничество. Писатель смело и открыто утверждает, что основным источником всех зол и противоречий в стране являются феодально-деспотический строй, его верхушка — шах, министры, правители провинций, чиновники, ханы, беки и духовенство.

Горячая защита интересов народа — крестьян, ремесленников, городских низов, смелая борьба за право человека на личную свободу, просвещение — основная направленность «Писем Кемал-уд-Довле» и других философских трудов М. Ф. Ахундова. Он писал, что иранский народ «находится как бы зажатым в тисках: с одной стороны давит необузданный деспотизм государей, а с другой — грубый, невежественный фанатизм духовенства... Вследствие постоянного нахождения между этими двумя тисками народ... дошел до совершенного изнеможения, сталь его способностей покрылась ржавчиной» [З. С. 35], он находится в жалком, унижительном состоянии, живет в жесточайшей бедности и невежестве.

Подвергая беспощадной критике феодально-деспотический строй, считая его противоречащим разуму, враждебным народу, тормозящим социально-экономическое, культурное развитие страны, Ахундов в своем философском трактате смело и решительно ставит вопрос о необходимости коренной перестройки государственной власти, но не насильственным путем, а осуществлением реформы сверху. «Прочность династии, — пишет М. Ф. Ахундов, — обуславливается образованностью нации и освобождением ее от суеверия. Падишах сам должен содействовать учреждению масонства в своем государстве, открытию общественных собраний, приисканию всевозможных средств для просвещения своего народа; он должен соединиться с ним в чувствах и мыслях и не считать государство своею исключительною собственностью, а признать себя только поверенным нации для управления ею и ее отечеством и с участием ее устанавливать законы, основать парламенты, во всех своих действиях руководствоваться законами и не иметь права ни на какой произвольный поступок, то есть он должен вступить на путь прогресса и шагнуть в круг цивилизации» [З. С. 61]. Идеальным государственным строем М. Ф. Ахундов считал конституционную монархию: «Государст-

венный строй должен быть основан на тех началах, на которых зиждется английская государственность, то есть должен быть конституционным государственным строем, быть на законных началах. Только в этом случае государственный строй может долго продержаться, и народ всей душой будет стремиться к тому, чтобы власть падишаха была прочной» [З. С. 302].

Проблемы государственного переустройства и установления в странах Ближнего Востока нового, демократического правления серьезно занимали М. Ф. Ахундова и в последующие годы. После долгих раздумий и глубокого знакомства с историей революционного движения в Западной Европе он в начале 70-х годов окончательно освобождается от иллюзии насчет коренного изменения феодально-деспотического строя мирным путем и приходит к убеждению, что его можно устранить только насильственным путем — вооруженным восстанием народных масс. Эти убеждения Ахундова подробно были изложены в его статье «Критика „Ек кельме“» («Одно слово», 1875), посвященной книге видного общественного деятеля и ученого Ирана Мирзы Юсиф-хана.

Ахундов писал: «Соблюдение справедливости и прекращение тирании возможны только при упомянутых мною выше условиях, то есть сама нация должна быть проникательной и благоразумной, сама должна создавать условия союза и единодушия и затем уже, обратясь к угнетателю, сказать ему: „Удались из управления государством и правительством“; после этого сам народ должен издавать законы соответственно положению и требованиям эпохи, выработать конституцию и следовать ей. Лишь тогда народ найдет новую жизнь и Восток станет подобен раю!» [З. С. 197].

Призывая народ к вооруженной борьбе против феодально-деспотического строя, против угнетателей, к созданию демократической республики, Ахундов заложил идейные основы революционной демократии в Азербайджане и в странах Ближнего Востока.

М. Ф. Ахундов решает основной вопрос философии — отношение сознания к бытию с позиций материализма. Материя рассматривается Ахундовым как сущность мировоззрения, а сознание, разум — как продукт материи. Ахундов решительно выступает против религии, считая ее «абсурдом и вымыслом» [З. С. 299], утверждая, что в руках господствующих и привилегированных классов она является орудием эксплуатации и угнетения. Он горячо и неустанно пропагандирует науку, достижения европейских естествоиспытателей. «Вера и наука, — писал М. Ф. Ахундов, — две противоположные вещи, уничтожающие одна другую и не могущие соединиться вместе в одном индивидууме» [З. С. 955]. «Если ты имеешь веру, то это значит, что ты науку не знаешь. Если ты знаешь науку, то это значит, что ты веры не имеешь. Если кто желает сохранить веру, то он не должен образовываться и развиваться, а кто желает образования и развития, тот поневоле должен распрощаться с верою». Он смело заявляет, что «мусульманским народам в настоящее время нужна только одна наука, которая ведет к цивилизации, а религия, основанная на суеверии, — только пустой призрак» [З. С. 98].

М. Ф. Ахундов в своих сочинениях высоко оценивал человеческий разум, считал его единственной, могучей силой прогресса человечества. «Счастье и победа, — писал он, — станут уделом потомков человечества только тогда, когда как в Азии, так и в Европе человеческое сознание полностью и навеки высвободится из религиозной темницы и во всех делах и мышлении человека единственным аргументом и абсолютным авторитетом будут не хадисы, а человеческий разум» [З. С. 177].

Многогранное творчество М. Ф. Ахундова оказало громадное влияние на дальнейшее развитие художественной, философской, общественно-политической, социальной, этической и литературно-критической мысли азербайджанского народа, а также народов Ближнего Востока. Духовное наследие великого писателя, драматурга, выдающегося философа и общественного деятеля — вклад в мировую цивилизацию, бесценное достояние азербайджанского народа, всей многонациональной культуры нашей страны.

Л И Т Е Р А Т У Р А

1. Ариф М. Эдэби-тэнгиди мегалэлэри. Баку, 1962.
 2. Ахундов М. Ф. Əсəрлэри. Баку, 1961. Ч. II.
 3. Его же. Избранные философские произведения. Баку, 1962.
-

Х. КУЛИЕВА-КАВКАЗЛЫ

ПИР СУЛТАН АБДАЛ И ТУРЕЦКАЯ ЛИТЕРАТУРА

Пир Султан Абдал — яркий представитель средневековой турецкой литературы, вошедший в ее историю, как поэт-текке, «народный кызылбашский поэт», «ашуг хазрета Али и двенадцати имамов», открыто выступивший против угнетения и несправедливости, готовый пожертвовать жизнью во имя торжества правды. В то же время, исповедуя шиитское направление ислама, будучи беззаветно «влюбленным в Сефевидов», он, даже рискуя быть казненным, обращал свой взор к иранскому шаху, призывал отдать Восточную Анатолию, где особым влиянием пользовались алавиды, под власть Ирана. «Он был ... великим мастером игры на сазе; его повесили за то, что он был приверженцем алавидов и открыто говорил об этом в своих стихах и песнях» [1. С. 11].

Поэт-бунтарь, неистовый борец за справедливость и счастье народа, Пир Султан Абдал жил и творил в XVI в. «Он возглавил восстание турецких крестьян против Сулеймана Великолепного, объединившись с шиитами, сторонниками шаха Исмаила, за что был повешен в Сивасе» [2. С. 28].

В период наивысшего могущества Османской империи, в первой трети XVI в., в разных местах Малой Азии произошли крупные народные восстания, носившие антифеодальный характер. Они напоминали «...восстания Баба Исхака в 1239 г. и шейха Бедреддина Симави в 1416 г. В тех и других сильно было влияние шиитских идей, вера в приход мессии-мехди, проповедь аскетизма» [3. С. 105—106]. Одно из первых восстаний, которое возглавил Нураддин, или Нур Али Халифа, вспыхнуло в 1508 г. Как свидетельствуют турецкие источники, вокруг Нур Али собрались 3—4 тыс. шиитствующих, или кызылбашей, т. е. красноголовых [4]. Восстание под предводительством шейха Джеляли началось в 1519 г. [5]. Восстание 1526 г. кызылбаша Баба Зюннюна быстро ширилось и вскоре превратилось в грозную опасность для турецких феодалов. Самым крупным было восстание 1526 г. под руководством Календероглу, или Календер Челеби, собравшего около 30 тыс. сторонников — «кызылбашей и мятежников». Календер Челеби выступил против династии Османов и намеревался основать новую. В 1529 г. вновь вспыхнули восстания во главе с кызылбашем Сейди и кызылбашем по прозвищу Инджирийемез [3. С. 105—112]. Видя в них политическую угрозу власти, османские правители, придерживавшиеся суннитства, преследовали кызылбашей. «...В глазах суннитских властей кызылбаши — религиозные и политические преступники ... Озлобление правительства против кызылбашей объясняется не только и, может быть, не столько их религиозными уклонами, — в кызылбашах видит оно антигосударственные, антисоциальные элементы...» [6. С. 203].

Характерно, что в Турции выступления широких народных масс против засилья феодалов имели, как, впрочем, повсюду в средние века, главным образом религиозный характер. Многие турецкие исследователи не рассматривали суфизм как новый этап в развитии турецкой общественной мысли и философии, и крестьянские восстания, до основания потрясшие социально-экономические устои ислама в Османской империи, они считали сугубо религиозными выступлениями. Болгарский тюрколог Р. Моллов по этому поводу отмечал: «Не выявляя конкретно-исторических условий, социальной, идеологической сущности народных выступлений, проходивших под эгидой шиитского движения, рассматривая появление сект и мазхабов кызылбашей, Бекташи, Алави, Алахлахи вне их социально-исторической обусловленности, некоторые исследователи изучают их только в историко-религиозном плане... Лишь советским источниковедам удалось раскрыть социальный характер народных выступлений в Османской империи, показать положительную революционную роль шиитских групп в восстаниях в Средней Азии и Анатолии в средние века» [7. С. 61]. В ту эпоху «учение имамитов в сочетании с суфизмом было идеологической оболочкой некоторых народных движений» [8. С. 398].

Одним из вдохновителей этих движений был народный поэт Пир Султан Абдал, изучение творчества которого представляет интерес и для филологов, и для историков. Впервые к наследию поэта-текке обратился в своих изысканиях известный турецкий литературовед М. Ф. Кёпрюлю [9]. С. Нюзхат написал исследование, посвященное 105 его стихотворениям [10]. Впоследствии к поэзии Пир Султана неоднократно обращались фольклористы П. Н. Боратав, А. Гёльпынарлы [11] и другие литературоведы, которые наряду с научным анализом произведений поэта, занимались также выявлением и публикацией его стихов. Вызывает в этой связи интерес статья Р. Моллова, где утверждалось, что очевидец и современник эпохи войн и восстаний Пир Султан был поэтом-революционером, продолжившим свободолюбивые традиции Муканна Буркаи, Халладжа Мансура, Баба Исхака и шейха Бедреддина. В его стихах ощущается значительное влияние поэтики Юнуса Эмре, народного суфизма Хатаи. Вместе с тем творчество Пир Султана оригинально в своей основе, самобытно.

Поэт-суфий Пир Султан Абдал воспевал и проповедовал идеи скрытого шиизма.

В начале XVI в. в Сефевидском государстве, простиравшемся к тому времени от Амударьи до реки Евфрат, прочные позиции завоевал шиизм, ставший официальной религией. Шиизм явился основным идеологическим средством объединения стран и народов с различным уровнем социально-экономического и культурного развития, с разнородным населением. Воспользовавшись недовольством широких народных масс политикой Ак-Коюнлу, ширваншахов и Османов, Сефевиды под флагом шиизма укрепляли свое влияние [12. С. 404].

Указывая, что Пир Султан в своих произведениях вдохновенно идеализировал шиизм, учение Али и его последователей, Дж. Озтелли отмечает, что в XVI в. представители этого направления распространяли и пропагандировали его основные положения и в Анатолии, вследствие чего укрепились связи между анатолийскими батинидами и потомками Шаха Сефи. Стремясь ослабить власть Османского государства, анатолийские алавиды-кызылбашы связывали все свои надежды с иранским шахом. При встрече друг с другом они вместо традиционного приветствия произносили слово «шах», паломничество совершали не в Мекку,

а в Ардебиль, где поклонялись святому Шаху Сефи и духовенству, олицетворявшему его. Таким образом, религиозные интересы стали постепенно приобретать политическую окраску, и тем самым анатолийские ортодоксальные мусульмане (суфи) обретали новые надежды и устремления [13. С. 15].

Анатолийское население поддерживало борьбу шаха Исмаила Хатаи (1501—1524) против Османского государства, принимало активное участие в антифеодальных по своему характеру восстаниях и мятежах. Одной из основных причин целого ряда выступлений, направленных против политики Османского государства, явилась духовная близость анатолийцев к идеям движения, возглавлявшегося вначале шахом Исмаилом Хатаи, а после его смерти — его сыном Тахмасибом I (1524—1576). Следует подчеркнуть и то обстоятельство, что анатолийские кызылбаши вовлекались в эту борьбу не только благодаря религиозной общности с восставшими. Связывая свои надежды с шахом, анатолийские кызылбаши-алавиды ждали от него помощи, полагая, что это приведет к уничтожению османской тирании.

Характерно, что, присоединившись к анатолийским алавидам, Пир Султан Абдал часто оказывался во главе антиосманских восстаний, придавал им соответствующее идеологическое направление. «Знаменем этих мятежей был Мехди... Подняв знамя восстания, Джалали утверждал, что Мехди скоро появится в их рядах. Календер Челеби с возгласом „Я—Мехди“ ринулся в сражение. В суфизме Мехди воплощает в себе символ справедливости. Причиной его бесправия является дворец, султаны. Против этого восставали, и эта борьба носила характер мести» [7. С. 64].

Мечтая о «пришествии» Мехди, преодолевая на этом пути неисчислимые трудности и препятствия, Пир Султан Абдал выступает отнюдь не в качестве религиозного деятеля: с приходом Мехди неизбежно рухнет османское правление, восторжествуют правда и справедливость, воцарятся спокойствие и мир:

Отец мой Мехди должен явиться,
Созвать он должен высший суд,
Показать он должен грешников,
Отомстить им за содеянное [7. С. 138].

Подобные поэтические строки скрывали под религиозным призывом, по замыслу поэта, призыв к борьбе с феодальным гнетом.

Пир Султан Абдал жил в селе Баназ вилайета Сивас. Каких-либо сведений о времени его рождения и смерти не сохранилось. По данным многих источников, он был казнен в Сивасе по приказу Хызыр-паши из рода османских правителей [14. С. 176]. Во многих стихах он часто называет себя «хайдаром». Анализ одного из его стихотворений, впервые опубликованного в 1954 г. в журнале «Турецкий язык» (№ 34), позволяет утверждать, что Пир Султан был родом из Южного Азербайджана. В стихотворении, начинающемся строкой «Я родом из Хорасана, из Хоя» Пир Султан Абдал восхваляет сторонников Али и Кызыл Дели [15].

В средние века Хой был городом с развитой культурой, ремеслами, и в настоящее время это торговый центр в Южном Азербайджане [16].

Неоднократное упоминание Пир Султаном в своих произведениях названий Хорасан, Тебриз, Ардебиль свидетельствует о том, что он хорошо знал эти города:

О, Язид, зачем ты заговор затеял против меня,
Ведь у меня приказ от Шаха Сефи [17] в Ардебиле [13. С. 387].

Обозрел я край Хорасанский,
Двух журавлей увидел я прекрасных [13. С. 402].

Язык поэзии Пир Султана Абдала близок к разговорной народной речи, выразителен и ясен. Поэт в совершенстве владел художественными приемами, умел облечь мысли в прекрасную стихотворную форму.

Кроме религиозной он разрабатывал в своем творчестве и лирико-любовную тему. С неразлучным сазом странствовал он от деревни к деревне, от одного кочевья к другому, неся людям свои идеи и свои стихи. Дж. Озтелли пишет, что «он не только озан (певец) идей, но и певец души» [13. С. 217]:

Дадим мы с тобой клятву:
Не забыть мне тебя, тебе—меня.
Хранить мы оба будем наш союз.
Не забыть мне тебя, тебе — меня [13. С. 219].

* * *

Приди, мой стройный кипарис,
Огонь запал мне в душу, я сгораю,
Ты Кибла [18] моя, лицо к тебе я обращаю,
Мой Михраб—ложбинка меж двух бровей [13. С. 219].

В стихах дидактического характера поэт, призывая людей быть правдивыми, честными, ратовал за разумный, правдивый образ жизни.

Пир Султан Абдал — подлинно народный поэт, всеми своими корнями связанный с родной землей. Страдая от горестной судьбы народа, он находил утешение в воспевании красот природы:

По наступлении весны реки начинают пениться,
Тюльпан, гиацинт распускаются.
Кизил прячется от ловца,
Как джейран в чистом поле [13. С. 223].

Читая стихи Пир Султана Абдала, можно с уверенностью сказать, что «лишь сельский житель, человек, выросший корнями в землю, может так чувствовать природу. Лишь крестьянин, любящий природу, очарованный ее таинственной красотой, мог написать такие строки» [7. С. 66].

Отдавая дань традициям классической поэзии Востока, воспевая розу, соловья, журавля, Пир Султан Абдал в то же время отражал в своих стихах окружающую действительность, реальную жизнь с ее горестями и тревогами:

Спящие друзья, в низине, на вершинах
Поспешите мне на помощь, горем я охвачен.
Потерял я голову, куда мне деться,
Где бы я ни был, горе не покидает меня [13. С. 258].

Куда бы я ни прибыл, все печальны.
О судьба, о Вселенная, кто-нибудь доволен ли тобою? [13. С. 320].

В его стихах «слышатся громовые раскаты антифеодалных восстаний, потрясших общественные и идеологические устои феодализма в исламском мире» [2. С. 20]. Немало в произведениях поэта философских размышлений:

— Мир, как говорится, — это сломанный лук.
Вначале свадьба — веселье, а в конце — слезы.
Мир — это караван-сарай с четырьмя воротами,
В котором даже султаны не задерживаются [13. С. 356].

Глубоким философским содержанием отличаются многие стихи Пир Султана о смысле бытия, смерти [13. С. 236]. В них нет пессимизма. Смерть в его представлении — естественный, закономерный итог, вытекающий из самой сущности всего живого. Поэтому человек,

по его мнению, всегда должен быть готов встретить ее достойно, особенно в тех случаях, когда этого требует священная борьба за справедливость:

— О, лживый мир, могу ль отныне уповать я на тебя,
Где те, кто был когда-то до меня?
Наступит смерть — мне говорили, я не верил.
Узнал я и понял: были правы, кто это твердил.

Сотворен был человек и зверь,
Залогом оказалась душа его.
Где они, триста шестьдесят шесть пророков,
Оставят ли нас те, кто их заполучил?

Пир Султан Абдал не спеша приближается,
С тетрадью в руках пишет стихи.
Очередь, вращаясь, дойдет и до нас,
Но бессмертны те, кто отдал жизни ради нас [13. С. 315].

Выступая на стороне тех, кто поднимал бунты и восстания, и даже возглавляя эти выступления, Пир Султан Абдал достойно встретил смерть. Попад в плен и зная о том, что ему грозит казнь, поэт не дрогнул. «Некоторые строки говорят о том, что даже перед лицом смерти он не теряет надежды на спасение... Однако колеблется он недолго, быстро берет себя в руки в последний миг, собрав всю волю, вновь выступает несгибаемым борцом против зла» [7. С. 72].

Многие стихи Пир Султана [13. С. 72, 73, 137, 157—158 и др.] являются «классическими, яркими, бессмертными образцами революционной турецкой поэзии» [7. С. 73]. «Пир Султан...—это дитя Анатолии. Храбрый, мужественный человек, до конца остающийся верным данному слову. Конечно, такого человека не могла испугать виселица» [1. С. 60].

В творчестве Пир Султана Абдала отчетливо ощущается влияние эпоса «Китаби Деде Коркуд», поэзии Юнуса Эмре, Кайгысыз Абдала и шаха Исмаила Хатаи. И сам он во многом определил пути дальнейшего развития национальной литературы, повлияв на творчество Караджаоглана, Намика Кемала, Рзы Тевфика и многих других поэтов. Пир Султан Абдал на века остался в памяти народа, сложившего о нем легенды.

Литературное наследие Пир Султана изучено недостаточно. Советское востоковедение практически не обращалось к анализу его творчества. Можно согласиться, что Султан Абдал является поэтом-текке, но это не дает основания причислять его к поэтам-проповедникам, религиозным догматикам. Это был великий поэт, творчество которого питалось народной поэзией, для него религиозные искания были прямо связаны с поисками истины, правды, справедливости, за что он всю жизнь подвергался гонениям и преследованиям. Это был ашуг, призывавший к свободе, к свержению власти тиранов. Для достижения этих своих целей он примыкает к секте (таригату) алавидов, выступая то как активный участник, то как вождь народного движения. Необходимо объективно и с учетом конкретной исторической обстановки исследовать жизнь и творчество Пир Султана Абдала, его идейные концепции, рожденные противоречиями эпохи. Как и другие бунтари средневековья, поэт, участвуя в народных восстаниях, стал провозвестником последующих национально-освободительных движений. Народ всегда чувствовал тот мятежный революционный дух, присущий поэзии Пир Султана Абдала: «В своей борьбе народ, подобно знамени, гордо нес его стихи... подтверждая тем самым его величие» [7. С. 73].

П Р И М Е Ч А Н И Я

- ¹ Pir Sultan Abdal/Hazır. Ibrahim Aslanoglu. Istanbul, 1984.
- ² Алькаева Л., Бабаев А. Турецкая литература. М., 1967.
- ³ Новицков А. Д. История Турции. Л., 1963.
- ⁴ Такое прозвище дали воинам отца шаха Исмаила I и его самого, носившим чалму, украшенную двенадцатью пурпурными полосками в честь двенадцати шиитских имамов.
- ⁵ После восстания Джеяли бунтовщиков из низов стали именовать в турецких источниках джеяли, а народные восстания — джеялик.
- ⁶ Гордлевский В. А. Избранные сочинения. М., 1962. Т. 3.
- ⁷ Mollof R. Edebî makaleler. Sofya, 1953.
- ⁸ Большая Советская Энциклопедия. М., 1978. Т. 29.
- ⁹ Köprülü F. Pir Sultan Abdal: Hayat (dergi). Ankara, 1928. № 64.
- ¹⁰ Ergin S. N. XVI asır saz şairlerinden Pir Sultan Abdal. Istanbul, 1929.
- ¹¹ Boratav P. N., A. Gölpınarlı. Pir Sultan Abdal. Ankara, 1943.
- ¹² См. по данному вопросу: Азербайджанская Советская Энциклопедия. Баку, 1984. Т. 8. На азерб. яз.
- ¹³ См.: Pir Sultan Abdal/Hazır. C. Öztelli. Milliyet yayımları, 1978.
- ¹⁴ Banarlı N. S. Resimli Türk edebiyatı tarihi. Istanbul, 1949.
- ¹⁵ Кызыл Дели—один из лидеров алави-бекташистов. Иногда его называют также Сеид Али.
- ¹⁶ См. по данному вопросу: [13. С. 49].
- ¹⁷ Шах Сефи — шейх Сефиаддин Ардебил, по происхождению азербайджанец, глава сефевидского таригата-секты, дед шаха Исмаила.
- ¹⁸ Кибла — сторона, куда мусульмане обращаются лицом во время молитвы, направление к Каабе.

ДИСКУССИИ И ОБСУЖДЕНИЯ

Ю. М. СЕИДОВ

ЕСТЬ ЛИ В АЗЕРБАЙДЖАНСКОМ ЯЗЫКЕ (ВООБЩЕ В ТЮРКСКИХ ЯЗЫКАХ) ОТРИЦАТЕЛЬНЫЕ МЕСТОИМЕНЕНИЯ?

В книгах по морфологии азербайджанского языка—учебниках, академических изданиях, а также в отдельных работах, посвященных местоимениям, преподносятся в качестве одного из разрядов местоимений отрицательные местоимения [1. С. 131; 2. С. 189; 3. С. 91—92; 4. С. 179—185]. Во всех книгах соответствуют друг другу и определения отрицательных местоимений, и примеры. Ограничимся обращением к трем книгам:

«Отрицательное местоимение... образуется объединением слова *heç* со словами *ким, кәс, нә, бир, шеј*: *heç кәс, heç бири, heç нә, heç бир шеј, heç бир кимсә...*» [1. С. 131]; «Отрицательные местоимения образуются от вопросительно-отрицательных местоимений (*ким, нә, һансы, һара*), неопределенного местоимения (*кәс*) и некоторых других слов (*бир, шеј, чур*) при помощи отрицательной частицы *heç*, напр.: *heç ким* 'никто', *heç нә* 'ничего', 'ничто', *heç һансы* 'никакой', *heç һара* 'никуда', *heç кәс* 'никто', *heç бир* 'ничего', *heç бири* 'никто', *heç шеј* 'ничего', *heç бир шеј* 'ничего', *heç чур* 'никак', *heç чурә* 'никак'» [3. С. 91—92]; «Присоединением частицы *heç* к другим местоимениям и словам местоименного характера получаются отрицательные местоимения...: *heç ким, heç кәс, heç һара, heç кимсә, heç бир* и др.» [2. С. 189].

Оставив в стороне некоторую поверхностность объяснений, обратим внимание на примеры. Примеры, представленные как «отрицательные местоимения», суть сочетания двух (*heç ким, heç нә, heç кәс...*) и даже трех (*heç бир кәс, heç бир шеј*) слов, не оформленные в виде лексической единицы, и преподнесение таких сочетаний, как лексических единиц либо как одного из местоименных разрядов, не выдерживает никакой критики. Другими словами, *heç ким* — это два слова, а не одна лексическая единица, *heç бир шеј* — это три слова, но не одна лексическая единица. Нас особенно удивила в одной из книг мысль о том, будто «этот разряд местоимений („отрицательные местоимения". — Ю. С.) уже сформировался в азербайджанском языке» [2. С. 189]. Как можно говорить о том, что сформировались отрицательные местоимения, выдавая за лексические единицы единицы речи из двух-трех слов и принимая за основу их отрицательное значение? Среди представленных примеров только один (*кимсә*) — это оформленная лексическая единица, да и то она сама по себе не выражает значения отрицательности, а является неопределенным местоимением. Автор представляет эту единицу в качестве отрицательного местоимения, основываясь на ее использовании в предложении с отрицательным сказуемым: *Лакин һәлә кимсә көрүнмүрдү* — досл.: 'Но пока кто-то не было видно'.

Мы перелистали второй том издания «Языки народов СССР» — «Тюркские языки» и некоторые другие издания, относящиеся к тюркским языкам, и увидели, что таково положение вообще в тюркологии. Но в общих представлениях проявляются и некоторые различия. В основном представления об отрицательных местоимениях в тюркологии складываются в следующую картину:

1. В некоторых работах не дается разряд отрицательных местоимений [5. С. 412—414, 435—436, 451, 473—474; 6. С. 334—338].

2. Отрицательная частица искусственно, насильно объединяется с другим словом, пишется слитно с ним, «образуя» формально «сложную лексическую» единицу, и преподносится как отрицательное местоимение. Например, в гагаузском языке: *кимсей* 'никто', *бишей* 'ничто' [5. С. 120]; в казахском: *дәнеңе*, *дәнеме* 'ничто', *ештеңе*, *ештеме* 'ничего', *ешқандай* 'никакой' и т. д. [5. С. 328]. В татарском языкознании в качестве примеров приводятся «отрицательные местоимения» *һичкем*, *һичнәрсә*, *һични*, *һичничек*, *һичкая*, *һичкайда*, *һичкайчан*, *һичнинди*, *беркем*, *бернәрсә* и другие и указывается, что «все отрицательные местоимения являются сложными словами» [7. С. 205—206]. При этом упускается из виду, что слитное написание слов еще не делает их сложными. Қ. М. Мусаев приводит примеры из караимского языка: *киши-де* // *киси-де*, *бир-де* и пишет, что в караимском языке «отрицательные местоимения... являются производными» [8. С. 226—227].

3. В очерке по киргизскому языку («Языки народов СССР»), в отличие от других очерков, сама отрицательная частица *эч*, *ҳич* преподносится как местоимение (отрицательное) и указывается, что она (*эч*, *ҳич*) «самостоятельного значения не имеет и выражает отрицание значения, выраженного определяемым словом» [5. С. 494]. В книгах по другим языкам отрицательная частица преподносится не в отдельности, а в сочетании слов в качестве местоимения.

4. В большинстве очерков примеры отрицательных местоимений — это, как сказано выше, сочетания двух-трех слов — в соответствии с книгами по азербайджанскому языку [5. С. 100, 182, 244, 307, 348, 375, 512].

Если не принимать во внимание некоторые фонетические различия, то языковые факты, именуемые в тюркских языках «отрицательными местоимениями», совпадают друг с другом; принимать их в качестве лексических единиц неправильно; без колебаний можно утверждать, что в тюркских языках отрицательные местоимения как местоименный разряд не сформировались.

В этом смысле привлекает внимание мысль, которую высказал А. М. Щербак: «Собственно тюркских отрицательных местоимений, по существу, нет» [9. С. 137]. Однако он добавляет, «что в тюркских языках, подвергшихся влиянию персидского языка, широко употребительны отрицательные местоимения, представляющие собой сочетания существительных со словом *һәч* ~ *һич* ~ *әч* ~ *әш*...» [9. С. 137]. Ту же мысль в историческом плане высказывает Б. А. Серебrenников: «Можно с полной уверенностью утверждать, что в тюркском праязыке никаких особых отрицательных местоимений не было» [10. С. 148]. Это суждение полностью относится и к современным тюркским языкам. Но Б. А. Серебrenников не отрицает наличия этого разряда местоимений в современных тюркских языках и пишет, что «позднее многие тюркские языки для создания отрицательных местоимений заимствовали из персидского языка слово *һич*; ср.: узб. *һеч бир* 'ни один', *һеч ким* 'никто', азерб. *һеч ким* 'никто', *һеч нә* 'ничего'» [10. С. 148].

Кстати, заметим, что это положение в определенной степени относится и к другим разрядам местоимений. И в этой области мы встреча-

емя с представлением сочетаний из двух-трех слов как лексической единицы. Например, в азербайджанском языкознании приводятся примеры: вопросительных местоимений — *нә заман, нә чур, нә сајаг, нәја көрә, надан өтрү, нә тәһәр, нә үчүн, нә гәдәр, нә сәбәбә*; неопределенных местоимений — *ким исә, һәр ким, нә исә, һәр нә, һәр бири, һәр кәс, бир кәс* и др. Как видно, ни одно из них не является лексической единицей, все они суть сочетания.

Надобо заметить, что, как это ни удивительно, предикативные сочетания (предложения) в некоторых тюркских языках тоже приводятся как примеры местоименных разрядов, приравниваясь к лексическим единицам; например, в очерке карачаево-балкарского языка сочетания *ким болса да* 'кто бы он ни был', *ким да болсун* 'кем бы он ни был' считаются неопределенными местоимениями.

Все это — результат смешения единиц языка и единиц речи, лексических и синтаксических единиц — слов и сочетаний, и с этим несоответствием мы встречаемся в книгах по морфологии тюркских языков, можно сказать, применительно ко всем частям речи.

ЛИТЕРАТУРА

1. *Һусейязадә М. Мүасир Азәрбајҹан дили: Морфолокија*. Бақы, 1983.
2. *Мүасир Азәрбајҹан дили*. Бақы: Елм, 1980. 2 ч.: Морфолокија.
3. *Грамматика азербайджанского языка: (фонетика, морфология и синтаксис)*. Баку: Элм, 1971.
4. *Исламов М. Түрк дилләриндә әвәзликләр: (Азәрбајҹан дилинин диалект материалы әсасында)*. Бақы, 1986.
5. *Языки народов СССР*. М., 1966. Т. 2: Тюркские языки.
6. *Дмитриев Н. К. Строй тюркских языков*. М., 1962.
7. *Современный татарский литературный язык*. М., 1969.
8. *Мусаев К. М. Грамматика карaimского языка*. М., 1964.
9. *Шербак А. М. Очерки по сравнительной морфологии тюркских языков: (Имя)*. Л., 1977.
10. *Серебренников Б. А., Гаджиева Н. З. Сравнительно-историческая грамматика тюркских языков*. Баку, 1979.

МАТЕРИАЛЫ И СООБЩЕНИЯ

Н. А. БАСКАКОВ

ТИТУЛЫ И ЗВАНИЯ В СОЦИАЛЬНОЙ СТРУКТУРЕ БЫВШЕГО ХИВИНСКОГО ХАНСТВА

ПОСВЯЩАЕТСЯ ПРОФ. Л. БАЗЭНУ

Титулатура в системе ономастических исследований относится к номенклатурным терминам, обозначающим родовые, владетельные, должностные, почетные и прочие звания людей в их отношении к тому или иному господствующему слою рода, родоплеменного объединения, племени или господствующему классу, народности, нации и государства.

Тюркские титулы и звания берут свое начало в глубокой древности, — они существовали у хунну (гуннов), аваров, сабиров (II—III вв. н. э.) на западе и у огузов, уйгуров и киргизов (VII—VIII вв. н. э.) — на востоке [1].

Заемствованная большей частью до X в. н. э. у китайцев, а в дальнейшем у арабов и персов тюркская титулатура, отражая социальные отношения и структуру родоплеменного, а затем и феодального общества, в некоторых мусульманских государствах сохранилась вплоть до нашего времени. До Великой Октябрьской социалистической революции она была представлена и в таких среднеазиатских феодальных государствах, как Бухарский эмират и Хивинское и Кокандское ханства.

В 1926—1929 гг., во время специальных экспедиций в Хиву, нам удалось не только собрать специальный материал по социальной структуре бывшего Хивинского ханства, но и познакомиться с некоторыми представителями придворной знати последних хивинских ханов, в частности с одним из сыновей Исфендияр-хана — работником системы водного хозяйства, придворным художником Мухаммедом Керимом Кары, накашданом, фотографом и часовых дел мастером Худайбергенем Дивановым, писарем-каллиграфом Абдеримджаном Матъякубовым и многими другими [2]. Все они сохранили в своей памяти живые представления об окружении последних ханов, о системе управления ханством, о составе номенклатуры хивинской знати, чиновников, духовенства, воинского сословия, родоплеменных старейшин и пр.

В данной статье нами приводится относительно полный список всех существовавших в Хивинском ханстве названий должностей и соответствующих им званий и титулов, а также анализируется их происхождение в сопоставлении с титулатурой древних тюрков, в частности с титулами и званиями османских турок при дворе бывших турецких султанов.

Титулы и звания хивинской администрации бывшего Хивинского ханства, а также его феодальной верхушки, включая мусульманское

духовенство, можно разделить на шесть основных групп: I — титулы и звания представителей верховной и административной власти во главе с ханом согласно их иерархии; II — титулы придворного окружения хана; III — воинские титулы и звания; IV — духовные звания и титулы; V — номенклатура судебного ведомства; VI — чины и звания податной администрации.

1. Титулы и звания представителей верховной и административной власти

Неограниченная верховная власть в Хивинском ханстве принадлежала хану, чье звание обозначало одновременно и родственную связь его с Чингис-ханом.

1. *Хан* — традиционный титул в большом родоплеменном объединении или государстве тюркских и монгольских народов; у тюрков впервые отмечен у гуинов в форме *хан* и *каган*, а также у булгар — в форме *хан*. Титулы *хан* и *каган* происходят из китайского: *хан* < кит. *kuan* 'хан'; *qaγan* < кит. *ke-kuan* 'великий хан' [3] (ср.: [4. Т. 4. С. 221; 5. Т. 1. С. 527]).

Ближайшими к хану представителями власти в Хивинском ханстве были: *инак*, *везир*, *мехтер* и *кушбеги*.

2. *Инак* — заместитель, наместник хана < тюрк. *inaq*: «В Хиве после хана *инак* — главный начальник в провинции или в городе, сопровитель, меньшой брат царствующего хана в Хиве» [5. Т. 1. С. 212]. У древних тюрков титулу *инак* соответствовал титул *шад* ~ *ишад* (согд. *xšyδ* ~ *xšyδ*), указывающий на родство его носителя с каганом у хазар [6. С. 519; 7].

3. *Везир* — первый министр, советник хана < *وزير* 'vezir' 'везир', букв.: 'поддерживающий бремя' [5. Т. 2. С. 304]. (ср.: [8. С. 1124]). У древних тюрков — хазар, булгаров титулу *везир* соответствовал титул *jabγu* ~ *žabγu* [6. С. 22; 9; 10], происхождение которого одними исследователями возводится к среднеиранскому, кушанскому или санскритскому *jawcra* < *jam* 'приказывать, руководить', а другими — к кит. *džabγu* [11]. В Хиве главный, или первый, везир назывался *везир акбар* < араб. *وزير اكبر* *vezir akbar* 'великий везир' и ведал всем оседлым и кочевым населением ханства. При последних ханах был известен великий везир Сеид Ислам-ходжа — строитель одного из самых высоких минаретов в Хиве — Ислам-ходжа манара.

4. *Наиб* ~ *нагыб* — помощник или заместитель везира < араб. *نائب* *najīb* 'наместник везира' [5. Т. 2. С. 280]. В Турции этому званию соответствовал титул *каймакан* < перс. *قائم مقام* *kajmakān* [12. С. 99].

При хане и великом везире в Хиве существовал *Диван* 'государственный совет' < араб. *ديوان* > *divān* 'трибунал, сенат, придворная канцелярия, государственный совет' [5. Т. 1. С. 582], в состав которого кроме хана, везира и духовных лиц, военных, придворных, судебных, податных и прочих представителей власти входил *диванбеги*, который выполнял общие организационные обязанности, т. е. обязанности статс-секретаря.

5. *Диванбеги* — начальник, организатор, управляющий государственным советом < араб.-кит. *ديوان بكي* > *divān-begī* 'начальник государственного совета'.

6. *Арбаб* ~ *арбаб-диван* — член государственного совета < араб. *ارباب* *arbab* — мн. число от *رب* 'владелец, хозяин' [5. Т. 1. С. 24].

7. *Раис* — глава городской администрации, управляющий городом

и ведающий внутренними делами ханства <араб. رئيس *rajis* 'глава, голова, начальник, правитель'. «В Хиве и Ташкенте — род. городничего или полицмейстера; رئیس افندی, *reis efendi* в Турции — министр иностранных дел...» [5. Т. 1. С. 601]. У древних тюрков титулу *pauc* соответствовал титул *бельгичи* ~ *балыкчы*; его происхождение у одних исследователей: <*baluq* город + *-čy/-či* — аффикс профессии> *baluqčy* 'городничий' [13], у других: <*belgi* 'знак' + *-čy/-či*> *belgiči* 'ставящий печать' [10].

8. *Ага* — государственный казначей <тюрк. اغا *ага* 'господин'; после собственного имени означает князя или дворянина. «В Хиве — первый министр, государственный казначей» [5. Т. 1. С. 60]. В Турции этому званию соответствовал титул دفتردار > *daftardar* 'министр финансов' <греч. *defthera* 'пергамент, тетрадь' + перс. دار <-*dar* — аффикс профессии, деятеля [5. Т. 1. С. 561].

Все Хивинское ханство было разделено на две провинции: Северную, во главе которой был наместник хана, носивший титул *мехтера*, и Южную — во главе с другим наместником хана, носившим титул *кушбеги*. Наместникам — *мехтеру* и *кушбеги*, а также непосредственно хану были подчинены *хакиды*. а *хакимам*, в свою очередь, — последовательно *аталыки*, *вакили*, *кетхуда*, *беглербеги*, *беки* ~ *бийи* и, наконец, *аксакалы*.

9. *Мехтер* ~ *михтер* — наместник хана по управлению провинциями <перс. مختار *mixtar* 'уполномоченный, избранный старшина' [5. Т. 2. С. 217]. В Хиве *мехтер* ведал населением северной части ханства, в том числе городами Ходжейли, Куня-Ургенч, Кунград, селениями Шоманай, Соргол, Молла-пирим и пр.

10. *Кушбеги* — наместник хана по управлению провинциями <тюрк.-кит. <тюрк. *quš* ~ *qoš* ~ *qowuš* 'ставка, лагерь' + кит. *beg-i* 'бек, господин'> *quš begi* — титул высокого гражданского чина, первого министра [5. Т. 2. С. 83]. В Хиве *кушбеги* ведал оседлым и кочевым населением южной части Хивинского ханства. У древних тюрков — хазаров, болгар титулам *мехтер* и *кушбеги* соответствовал титул *тудун* 'наместник губернатора' <кит. *to-thoŋ* [6. С. 593] ~ *tao-in* ~ *du-du-n* [3].

Наместником хана *мехтеру* и *кушбеги*, а также непосредственно хану были подчинены *хакиды* с местом пребывания в городах (Ходжейли, Куня-Ургенч, Ургенч, Илялы и др.), которым, в свою очередь, были подведомственны различного ранга родоплеменные и родовые старшины: *аталыки*, *беглербеги*, *кеткуда*, *вакили* и старшины более мелких родовых подразделений: *беки* ~ *бийи* и *аксакалы*.

11. *Хаким* — губернатор, генерал-губернатор, управляющий частью провинции Северной или Южной, примыкающей к тому или иному крупному городу, в котором находился *хаким* араб. حاکم *hakim* 'правитель, губернатор' [8. С. 236].

12. *Аталык* — родовой старшина крупного родового подразделения каракалпаков-кочевников, подчиненный *хакиму* <тюрк. *ata* 'отец' + *-lyq/-lik*, указывающий на совокупность> *atalyq* 'родовой старшина' (ср.: [5. Т. 1. С. 9]).

13. *Беглербеги* — родовой старшина крупного подразделения кочевников каракалпаков, туркмен или реже узбеков, подчиненный *хакиму* <кит. *paik* 'белый, знатный, благородный' [3]> *beg* + *-lar/-ler* — аффикс множественного числа + *beg-i*> *begler begi* 'бек беков'. В Хиве звание и должность утверждались ханом, но, как правило, они были наследственными.

14. *Кетхуда* — родовой старшина у туркмен того же ранга, что и *аталык*, *беглербеги*, также подчиненный *хакиму* <перс. کتخدا ket-xuda <перс. کت ket 'дом' + خدا xuda 'владелец'> ket xuda 'владелец дома, управляющий' [5. Т. 2. С. 113—114].

Титулам *аталык*, *беглербеги* и *кетхуда* в Хивинском ханстве у древних тюрков соответствовал титул *жупан* ~ *чопан* <кит. tsou-pan ~ čou-pan > *žоран* ~ *žуран* [3].

15. *Вакиль* — родовой старшина у туркмен-кочевников, уполномоченный хана; подчинялся *кетхуде* и *хакиму* <араб. وكيل vakil 'представитель правительства, посланник, депутат, поверенный' [5. Т. 2. С. 307]. У древних тюрков этому титулу соответствовало звание *быля* ~ *буйла* ~ *бойла* <тюрк. boj 'рост' + -ly/-li — аффикс обладания> *boj-ly* 'старшина' [14]; <boj 'племя, род' + -ly/-li> *boj-ly* 'имеющий род, имеющий племя' [1].

16. *Бек* ~ *бий* — глава отдельного рода, родовой старшина, *бек* — у туркмен, *biј* — у каракалпаков <кит. paik 'белый, знатный, благородный' [3]; 'князь, вельможа, дворянин, господин' [5. Т. 1. С. 263—265].

17. *Аксакал* — старшина отдельного аула или кочевья <тюрк. aq 'белый' + saqal 'борода'> *aq saqal* 'старец, уважаемый, почтенный, старшина, староста' [5. Т. 1. С. 66].

II. Титулы придворного окружения хивинского хана

1. *Эмир уль-умера* — почетное придворное звание лица, происшедшего от фамилии пророка Мухаммеда или Али <араб. امير amir 'эмир, князь, повелитель, правитель' [5. Т. 1. С. 95] + الامرا ul'umera — мн. число от امير amir > *amir al-umera* 'эмир эмиров'.

2. *Караулбеги* — начальник дворцовой охраны <тюрк.-монг. qara-wul 'караул, стража, сторожевой отряд, охотники, распоряжающиеся охотой' [5. Т. 2. С. 48] + beg-i 'господин, начальник' > *qarawul-beg-i* 'начальник караула, начальник стражи'; ср.: тур. çavuş-başı 'церемониймейстер при приеме послов' [12. С. 100]; 'начальник дворцовой стражи' [5. Т. 1. С. 466].

3. *Миришаб* — начальник ночной охраны, ночного дозора, ночных патрулей <араб. امير amir 'князь, начальник' + перс. شب šab 'ночь'> *amir šab* 'начальник ночи' [5. Т. 1. С. 272, 664].

4. *Дамакчи* — ведающий продуктами для ханского двора <перс. دماغ aamaq 'нёбо, орган вкуса, горло, гортань; пища, пропитание' [5. Т. 1. С. 375] + -čy/-či — аффикс профессии> *amaqčy* 'ведающий пропитанием'.

5. *Ашчибашы* — начальник поваров ханской кухни <тюрк. ašcy 'повар' + baş-у 'глава'> *ašcy başy* 'начальник поваров, главный повар'; ср.: тур. aştzy 'повар у янычаров' [12. С. 198].

6. *Достарханчи* — придворный церемониймейстер <перс. دستارخوانچی dostarxančy 'буфетчик', в Бухаре — придворный чин [5. Т. 1. С. 559].

III. Военские титулы и звания

1. *Серкердар* — главнокомандующий войсковыми соединениями <перс. سرکردار sarkerdar 'атаман, вожак, командующий войском' [15. С. 282] <перс. سرمنك sermenak 'начальник войска, полководец' [5. Т. 1. С. 627]; ср.: тур. seraskir 'верховный главнокомандующий армией'.

2. *Топчибашы* — начальник артиллерии <тюрк. توپچی topčy 'пуш-

карь, артиллерист' + *baş-y* 'начальник, глава' > *topçy başy* 'начальник артиллерии'; ср.: тур. *طوبجوباشی* *topçy başy* 'начальник канониров' [12. С. 17] или *قومبوراجی* < *qumbur* 'глухой шум' + *-džy* — аффикс профессии > *qumburadžy* 'производящий глухой шум' > 'канонир' [5. Т. 2. С. 163].

3. *Дарга* — командующий флотом генерал-адмирал < монг. *darğa* — у бурят второе лицо после тайши — князь [5. Т. 1. С. 546], в современном узбекском и каракалпакском языках — начальник большой лодки, каюка, капитан корабля; ср.: тур. *kapudan-paşa* 'морской министр, великий адмирал' < ит. *kapitan* [5. Т. 2. С. 38].

4. *Есаулбаши* — командир крупного войскового соединения < монг. *jasawyl* 'есаул, исполнитель повелений, капрал, дворцовый страж' (в Хиве есаулы наблюдают за работой на ханских каналах) + *baş-y* 'глава, начальник' > *jasawyl-başy* 'командир есаулов' [5. Т. 2. С. 330].

5. *Мингебаши* — командующий тысячей воинов < тюрк. *miñ* 'тысяча' + *baş-y* 'глава' > *miñ başy* 'начальник тысячи'.

6. *Юзбаши* — сотник, командующий сотней воинов < тюрк. *jüz* 'сто' + *baş-y* 'глава' > *jüz başy* 'сотник, начальник сотни'. Соединение, состоящее из ста воинов-нукеров, было в распоряжении каждого *хакима*.

7. *Нукер* — воин, солдат войскового подразделения < перс. *نوکار* *nukör* 'слуга, служитель, прислужник'.

IV. Духовные титулы и звания

1. *Шейх-уль-ислам* — глава мусульманского духовенства в Хиве < араб. *شيخ* *šejx* 'старец, человек почтенный по летам и нравственности, глава племени, настоятель монастыря' + араб. *الاسلام* *al-islam* 'религия, правоверие' > *شيخ الاسلام* *šejx ul-islam* 'глава религии, главный муфтий, старшина духовенства' [5. Т. 1. С. 46, 678].

2. *Имам* — главный священнослужитель < араб. *امام* *imam* 'священнослужитель, главное лицо духовенства' [5. Т. 1. С. 91].

3. *Мулла* — священнослужитель ислама, грамотный, ученый человек < араб. *ملا* *mulla* 'учитель, ученый, священнослужитель' [5. Т. 2. С. 251].

4. *Ахун* — ученый мулла < перс. *اخوند* *axund* ~ *ахун* 'магистр, учитель, наставник', в Хиве *اخوند* называется глава духовенства [5. Т. 1. С. 19].

5. *Муэдзин* — глашатай, призывающий к молитве с минарета мечети < араб. *موذن* *mu'azzin* [5. Т. 2. С. 262].

6. *Ишан* — глава суфийского монашеского ордена < перс. *اشان* *išan* 'они (из учтивости и уважения употребляется как обращение вместо единственного числа к главе суфийского ордена, как эвфемизм)' [5. Т. 1. С. 196].

7. *Суфи* — последователь учения ишана, монах < араб. *صوفي* *sufi* 'благочестивый отшельник, монах секты дервишей, носивший одежду из грубой шерсти *صوف* *suf* в знак смирения' [5. Т. 1. С. 709].

8. *Мюрид* — ученик, последователь той или иной суфийской секты < араб. *مريد* *murid* 'желающий' [5. Т. 2. С. 225].

9. *Мудеррис* — профессор, учитель духовной семинарии — медресе при мечети < араб. *مدرس* *tuderris* 'профессор, учитель, наставник гимназии высшего училища, семинарии при мечети' [5. Т. 2. С. 219].

V. Номенклатура судебного ведомства

1. *Кази-раис* — главный судья, контролирующий выполнение зако-

нов шариата, ведающий благоустройством города <араб. قاضي رئيس qadī rajīs 'судья-председатель' [5. Т. 1. С. 601; Т. 2. С. 17]. «В Хиве судьи вместе с биями судят и решают тяжбы, *قاضي* *پلوان* или *اخوان* — *اخون* — глава духовенства, был в Хиве, ему подчинено все низшее духовенство: *хаджи*, *казы*, *раисы* и *муллы*» [5. Т. 2. С. 17].

2. *Кази-урда* — судья-арбитр, принимающий жалобы на обычного судью <араб. قاضي اوردو qadī urdu 'судья ханской ставки, дворца' [5. Т. 2. С. 133].

3. *Кази-кэлэн* — старший судья, рассматривающий тяжбы между судьями <араб. قاضي qadī 'судья' + перс. کلان kälān 'большой, крупный, старший' [5. Т. 2. С. 133].

4. *Палван-кази* — высший судья, председатель верховного суда <перс. پهلوان palvān 'герой, силач, богатырь' [15. С. 98] + араб. قاضي qadī 'судья' > palvān qadī 'главный судья'.

5. *Муфтий* — судья по шариату, определяющий решение фетву, принимающий участие в судебном процессе, подчинен *кази-кэлэну* и *кази-урду* <араб. مفتي muftī 'судья, главный судья' [5. Т. 2. С. 244]; ср.: тур. mufti 'глава духовенства, министр духовных дел, начальник улемов' [12. С. 17].

6. *Кази-~кади* — первичный судья по шариату <араб. قاضي qadī 'судья духовный' [5. Т. 2. С. 17]; ср.: тур. qadī [12. С. 56].

VI. Звания податного ведомства

Феодалы, а к концу существования ханства и феодально-капиталистические отношения способствовали крайней поляризации классов эксплуатируемого и эксплуатирующего. Последний состоял из феодальной верхушки во главе с ханом, а также из богатых землевладельцев: 1) *мюлькдар* ملكدار mülkdar 'помещик' <араб. ملك mülk 'недвижимое имущество, имение, поместье' + دار >-dar > mülkdar 'обладатель недвижимого имущества' [5. Т. 2. С. 253]; 2) *ходжа* — привилегированный, богатый представитель аристократии, а также землевладельцев <перс. خواجه xodža — «представитель сословия, считающегося потомками халифов Абу Бекра, Османа, Омара и Али, но происходящих не от дочерей Мухаммеда, а от других жен. Ходжи в Хиве не платили налогов, не призывались в воинские соединения и на трудовые повинности, были землевладельцами и купцами» [5. Т. 1. С. 539]; 3) *бай* — богатый человек, а также землевладелец или купец <тюрк. baj 'богатый, богач, господин' [5. Т. 1. С. 239]; 4) *ярымчы-~жарымышы* — 'половинщик', соответствует нашему понятию «кулак» <тюрк. jarym ~ žarym 'половина' + -čy/-či — аффикс профессии > jarymčy ~ žarymčy 'половинщик' — социальная группа богатых крестьян, которые за свою работу у помещиков получали половину урожая.

Представителями эксплуатируемого класса были: 1) *дехканин* — малоземельный или безземельный крестьянин, который, как правило, занимался работать к баю или помещику <ир. ديخان dijhan 'земледелец'; 2) *егин-шерик* — компаньон на долю урожая, мало чем отличавшийся от дехканина <тюрк. egin 'посев' + араб. شريك šerik 'сотоварищ', 'сообщник, компаньон'; 3) *кюнликчи-~кюнликчи* — поденщик, получающий за работу каждый день <тюрк. күн 'день' + -lyq/-lik — аффикс совокупности + -čy/-či — аффикс профессии > күнликчи 'поденщик'; 4) *биватанлы* — не имеющий родины, без родины, батрак, обрабатыва-

ющий земли хана и помещиков <перс. *bi* — частица отрицания + араб. *وطن* *vatan* 'родина' > *بی وطن* *bi-vatan* букв.: 'без родины'.

Все земли в ханстве, в зависимости от того, кому они принадлежали, делились на: 1) *падишалык* — земли, принадлежащие хану <перс. *پادشاه* *padšah* 'монарх, государь' [5. Т. 1. С. 308] + *-lyq/-lik* — аффикс совокупности > *padšalyq* 'то, что принадлежит государю, хану'; 2) *мюльк* — земли, принадлежащие помещику и другим землевладельцам, в том числе *ярлыклы мюльк* — земли, полученные в дар от хана по ярлыку <араб. *ملك* *mülk* 'обладание, поместье' [5. Т. 2. С. 253]; *jarlyqly mülk* <тюрк. *jarlyq* 'дарственная грамота' + *-ly/-li* — аффикс обладания + араб. *ملك* *mülk* 'владение' > *jarlyqly mülk* 'владение, полученное по указу, ярлыку'; 3) *вакуф* — земли, принадлежащие духовенству, мечетям <араб. *وقف* *waquf* [5. Т. 2. С. 307].

В зависимости от принадлежности земельных владений, а также от характера доходов населения существовало несколько податных чиновников, ведающих взиманием различного рода податей и налогов и имеющих соответствующие звания и титулы. Наиболее высокими податными званиями и титулами были следующие:

1. *Мираб* — распределитель воды и учетчик засеянной земли для обложения налогом, выборный представитель из населения, но утверждаемый ханом <араб.-перс. *میراب* *mirab* <араб. *امیر* *amir* 'князь, начальник' + перс. *اب* *ab* 'вода' > *میراب* *mirab* 'начальник воды'.

2. *Мушриф* — чиновник, ведающий взиманием налогов с земель, принадлежавших помещикам и дехканам <араб. *مشرّف* *mušrifi* — *mušarraḡ* 'почтенный, уважаемый' [5. Т. 2. С. 234]. В обязанности мушрифа входил не только сбор налогов, но и общий контроль за выплатой налогов землевладельцами всего населения ханства. Поземельные налоги в ханстве были чрезвычайно разнообразны, ср., например, *salıyūt* *салгыт* — денежный поземельный налог, который взимался собственно за землю; *ṣarar puly* *чапар пулы* — налог, налагаемый на каждую юрту; *xuradž* *хырадж* — налог с урожая и пр.

3. *Мутавалли* ~ *мутавалли* — сборщик налога на вакуфные земли, даяк (<перс. *دایک* *dajak* <*داه يك* *dah-jak*, букв.: 'одна десятая') > араб. *متوالی* *mutavalli* 'поверенный в делах, опекун, распорядитель в мечети' [5. Т. 2. С. 209].

4. *Мехрем* — сборщик налогов и пошлин с караванов и скота <араб. *محرم* *mahram*: «В Хиве меча-мехрем и помощник его ходжаш-мехрем собирают пошлины с караванов, со скота и товаров, продаваемых на базаре» [5. Т. 2. С. 214]. К числу налогов, собираемых мехремом, относятся: *зэкэт* <араб. *زکات* *zākāt* — подать за скот, пригоняемый из Персии, Бухары и Афганистана; *ṣur-puly* ~ *šor-puly* — налог на пастбища, находящиеся на ханской земле (*padšalyq*), и пр.

5. *Баджман* — сборщик таможенных пошлин, *бадж* (<араб. *باج* 'подать, налог, пошлина') <араб.-перс. *بادمان* *badžman* 'чиновник в Хиве, находящийся в ведении мечи-мехрема и собирающий пошлины с живого товара в городах и на базарах'. В обязанности *баджмана* входили также сборы за право торговли на базарах вообще (налог *кесим* <араб. *قسم* *qisim* 'часть, доля', ср.: тур. *кесиме* *kesime* 'определенный, обусловленный выкуп пленника') [5. Т. 2. С. 128] и за занятие места для торговли на базаре (налог *таки-джай* <перс. *تکی* *taki* 'один' + *جای* *džaj* 'место') [5. Т. 1. С. 128] и пр.

Перечисленные титулы и звания, равно как и их разряды, не охватывают всей совокупности титулатуры и званий, существовавших в бывшем Хивинском ханстве, и задача настоящей статьи состоит, скорее, в том, чтобы на материале, собранном шестьдесят лет тому назад, привлечь внимание исследователей к дальнейшему изучению данного раздела ономастической науки, интересного не только для лингвистов-лексикологов, но и для этнографов и историков.

ЛИТЕРАТУРА

1. Баскаков Н. А. Тюркская лексика в «Слове о полку Игореве». М., 1985.
2. Он же. Народный театр Хорезма. Ташкент, 1984.
3. Ramstedt G. J. Alte türkische und mongolische Titel//J. Soc. Finno-Ougrienne. Helsinki, 1951. Vol. 55.
4. Фасмер М. Этимологический словарь русского языка. М., 1964—1973. Т. 1—4.
5. Будагов Л. З. Сравнительный словарь турецко-татарских наречий. Спб., 1869—1871. Т. 1—2.
6. Древнетюркский словарь. М., 1969.
7. Rossi Adriano V. In margine a On the Ancient Turkish Title «šaδ»//Studia Turcologica Memoriae Alexii Bombaci dicata. Napoli, 1982.
8. Баранов Х. К. Арабско-русский словарь. М., 1957.
9. Bosworth C. E., Clauson G. Al-Xwārazmī on the Peoples Central Asia//J. Royal Asiatic Soc. 1965. Apr.
10. Golden P. B. Khazar Studies. Budapest, 1980. 1—2.
11. Менгес К. Г. Восточные элементы в «Слове о полку Игореве». Л., 1979.
12. К. Д. Два года в Константинополе и Морее (1825—1826), или Исторический очерк Махмуда, Янычаров, Новых Войск Ибрагима-паши, Солимана-бея и проч. Сочинение КД/Пер. АО. Спб., 1828.
13. Коковцев П. К. Еврейско-хазарская переписка в X в. Л., 1932.
14. Корш Ф. Е. Турецкие элементы в «Слове о полку Игореве»//Изв. Отд-ния рус. яз. и словесности АН. Спб., 1903. Т. 8, кн. 4.
15. Миллер Б. В. Персидско-русский словарь. М., 1953.

А. В. ДЫБО

К ИСТОРИИ ТРАДИЦИОННЫХ АНТРОПОМЕТРИЧЕСКИХ ТЕРМИНОВ (СРЕДНЕАЗИАТСКАЯ МЕРА ДЛИНЫ QARI и др.)

История традиционных антропометрических систем мер находится в ведении двух наук. Во-первых, это историческая метрология — вспомогательная историческая дисциплина, устанавливающая в основном метрические значения тех или иных мер в ту или иную эпоху и не касающаяся собственно антропометрического аспекта этих значений (который зачастую зафиксирован в названиях мер). Во-вторых, названиями традиционных мер занимается историческая лексикология. Большинство работ в этой области ограничивается исключительно фиксацией антропометрического происхождения названия меры в рамках данного конкретного языка (группы родственных языков). При этом не учитывается тот факт, что системы мер активно используются в процессах обмена и торговли и еще в качестве чисто антропометрических (до государственной кодификации) подвергаются влиянию аналогичных систем других народов. Поскольку у разных народов термины с одинаковым «десигнатом» (например, «локоть») могут иметь разные «денотаты», т. е. подразумевают разные способы измерения (например, «расстояние от локтя до концов пальцев» или «расстояние от локтя до первой фаланги пальцев»), такое влияние необязательно влечет за собой лексическое заимствование, оно может выражаться и в изменении метрического значения мер. При введении государственной кодификации мер процессы взаимодействия метрологических систем идут уже на двух уровнях: на уровне исходных антропометрических систем, зафиксированных в названиях мер, и на уровне пересчета из одной кодифицированной системы в другую. Таким образом, за период существования метрологического термина образуются и перераспределяются целые «метрологические» культурные ареалы. Соответственно такие термины следовало бы рассматривать на более широком фоне языкового и культурного окружения в синхронии и диахронии.

Примечание 1.

По-видимому, при изучении развития и взаимодействия метрологических «знаковых систем» следует выделять у «антропометрического знака» следующие стороны:

- (1) Означающее;
- (2) Внутренняя форма (возможна, но необязательна производность от названия определенной части тела);
- (3) Значение в системе (= «значимость»: место в данной антропометрической системе мер, условно соотносимое с определенной частью тела);
- (4) Значение в смысле условленного способа измерения («расстояние от... до...»);
- (5) (В развитых метрологических системах) относительное значение — размер в пересчете на базовые единицы (например, «локоть» = 24 «пальцам»);
- (6) (В кодифицированных системах) метрическое значение — длина эталонной

линейки (которую исследователи измеряют в метрических мерах, например: «суконный локоть» = 82,9 см).

Отметим, что в кодифицированных системах у меры, видимо, продолжают функционировать стороны (5) и (4), т. е. о «суконном локте» известно, что он состоит из 40 «пальцев», и в определенных случаях важно, что номинально это — расстояние от плеча до концов пальцев. Конкретные метрические значения антропометрических мер в некодифицированных системах, конечно, не составляют «сторон знака», это — узальные значения.

Под «десигнатом» здесь можно понимать стороны (2) и (3) (как связывающие меру с анатомическим понятием), под «денотатом» — (4) — (6), задающие ее размерность.

Тюркское слово *qaḡi*, первоначально означавшее плечевую (верхнюю) часть руки (см.: ЭСТЯ. Т. 5 s.v. *ḡary*), но в большинстве тюркских языков ставшее наименованием предплечья (часть руки от локтя до запястья), использовалось также как название меры длины. В среднеазиатском ареале метрические значения меры *qaḡi* имеют широкий диапазон — от 45 см до 3 м. Очевидно, все эти числовые значения должны образовывать некую систему, опирающуюся на определенные антропометрические единицы либо прямо, либо опосредованно.

Такой же спектр значений, как *qaḡi*, дают его эквиваленты в персоязычной и арабоязычной системах наименований среднеазиатских мер [1]: соответственно *gaz* (этимологию см. ниже) и *baḡ*, *ḡira* (букв. 'локоть, предплечье').

Имеющиеся по среднеазиатским ручным мерам данные легко вкладываются в следующее построение.

Вероятно, в рассматриваемом ареале применялись две антропометрические системы:

1. **Абсолютная**, основанная на средних размерах соответствующих частей тела жителей данной местности. Она имеет довольно размытые метрические значения для каждой из мер. Для Средней Азии зафиксированы данные по бассейну реки Хингоу: **локоть** (длина предплечья плюс кисть, от локтевого сгиба до концов пальцев) 45—50 см [2. С. 109], **полусажень** (расстояние от середины груди до концов пальцев вытянутой руки) 84—88 см [2. С. 115—116]. Исходя из этих цифр и обычных пропорций человеческого тела можно интерпретировать меру ≈ в 71 см (среднеазиатский *alšip*, некоторые из *gaz*'ов, русский аршин, пришедший из Средней Азии) как **длину руки при локте** 45 см и **полусажени** в 84 см.

Примечание 2.

Отдельную проблему представляет история наименования меры *aršin*. В иранских языках имеются следующие формы, восходящие к праиран. **arəθn-* (=санскр. *arathniḥ* m. 'Ellenbogen, Elle'—Mayrhofer. 1, 47): 1) **arəθna-* m.: авест. (*arəθna-* m. 'Ellenbogen'; 2) **arəθni-* m.: а) авест. *frarəθna-* m. 'локоть — мера длины' (образование с приставкой *fra-*, характерное для названий ручных мер в авестийском); из авест.-пехл. *frarəst*, *frāč*; б) др.-перс. *arəšni* 'cubit' (мнение Кента, что древнеперсидские формы представляют п-основу, базируется, как представляется, на ошибочном убеждении, что это образование с суфф. **-tan*); ср.-перс. (ман) *'gyšn* (будд. *'lšn*) 'локоть', перс. *āḡš*, тадж. *arash* 'локоть, предплечье; мера длины' (*arəθ* в ср.-перс. переводе Авесты—новоперсизм?); белудж. *harīš*, *harš*, *harša* 'локоть, длина предплечья' [4]; сак. **arīna-* (<**arəθni-*) 'elbow', осет. Д.-*arīna*, И.-*arīn* 'локоть' (мера; в сложениях); памир. шугн. *wi-xč-ēgn*, орошор., рушан., бартанг. *xič-irñ*, язг. *səm-aip* (<**huška-arīna*), сарыкольск. *yorn* 'elbow', памир., вахан. *arə't*, *harət* (<**arəθni*) 'локоть' (мера длины); в) **arəθnika-* (уменьшит.): согд., будд. *ə'r'yns*, хр. *'gyns* 'локоть', заимствовано в пехлеви *aranž* 'joint, elbow', тадж. *оринч*, ст.-тадж. *оринч*, *оранч*, перс. *āranž* 'локоть', предплечье; мера длины', откуда заимствованы, в свою очередь, ягноб. *orī:nž*, *or'ūnž* 'локоть'; ормури, парачи *arūnž*, шугн. *ārenž*, сангл. *iškash* *arīnž*, вахан. *orīnž* 'локоть (elbow)'.

Такие формы, как ст.-тадж. *оранг*, перс. *ārāng* 'локоть, предплечье', по-видимому, следует объяснять как заимствования из незафиксированного согд. **arāng* < **arān* (см.: [5. 394 <**arəθnaka*?]) → Сюда же, скорее всего, относится перс. *ārap* (крайне сомнительно предположение Бартоломе: *arap* < *arhn*).

См.: Абаев. I, 129; Абрамян. 44; Андреев—Пещерева. 299; Гафаров. 21, 22; Грюнберг—Стеблин-Каменский. 298. [5. II. 45, 400—401], ТИС. 920, 922; Bailey. 8 [6]; Bartholomae. 196, 1021; Geyger. 128; Horn. 5; Kent. 170; Morgenstierne. ESh, 94; Morgenstierne. I. 235, 388; II. 381, 468, 514; III (Index). 20. Бейли относит сюда же йидга *razan, razin, мундж. rāzan m.* 'локоть', что маловероятно фонетически (ожидалось бы, скорее, гахан, *razan*—см.: Morgenstierne. II, 244; Грюнберг. 350).

Гейгер и вслед за ним Хорн (Horn. 18) возводят белудж. *harəš*, перс. *ārāš* к авест. *āršta* — в сочетании *āršta-bərəzan* 'высотой в сажень'; это сопоставление неверно, так как данное сочетание буквально означает 'высотой с копые' — ср. др.-перс. *aršti* 'копые' (см.: Bartholomae. 338; Kent. 172).

Из всех рассмотренных иранских форм в качестве источника названия меры *aršin* может выступать, видимо, только ср.-перс. **arīšn*. Заимствованное в тюркские языки, оно фиксируется в форме *aršin*, *aršın* с XII—XIII в. (Среднеазиатский тефсир — см.: Боровков. Тефсир. 60); дальнейшая адаптация—чагат., алчин; алт. арчин—см.: Радлов. I, 323, 426. В русской системе мер мера *аршин* появляется в конце XV в. (см.: [7. 72—73]). Очевидно, она заимствована из тюркских языков, а не из пехлеви или перс., где такой термин не зафиксирован, и уж, конечно, не из древнеиранского в общеславянский, как полагает Кент.

2. Относительная система, основанная на условном соотношении длин частей руки с базовой условно установленной единицей — шириной пальца. Этот тип соотношения восходит еще к древневосточным — египетской и аккадско-шумерской — системам; подвергался неоднократной перестройке. Естественно, что относительная система в большой степени автономизировалась, функционировала и изменялась самостоятельно и ее единицы связаны с «абсолютными» антропометрическими единицами весьма опосредованно. Попадая на новую почву, относительные системы, видимо, часто используются для переинтерпретации местных традиционных «абсолютных» мер [8]. Для рассматриваемого ареала с очевидностью устанавливаются как наиболее употребительные следующие «относительные» аршины: в 24 пальца, в 28, 40 и 49 пальцев. При этом меры в 24 и 28 пальцев восходят к древним ближневосточным мерам «локоть» и «царский локоть», а для аршинов в 40 и 49 пальцев имеется название «царский аршин» (40 пальцев — *dīga-i radišahi* в государстве Великих Моголов, 49 пальцев — «шахский газ» в Бухаре, «ханский газ» в Самарканде), что также предполагает известный параллелизм этих двух мер.

Примечание 3.

Система с «простым» и «царским» локтями возникла в Древнем Египте; метрические значения — соответственно ~46 и 52,5 см. «Царский» локоть функционировал как строительная и геодезическая мера. Относительно причин возникновения двух локтей можно выдвинуть следующую гипотезу. Египетский «царский» локоть в 52,5 см фактически равен аккадскому локтю в 52,5 см, который считался в 30 (аккадских) «пальцев», т. е. 6 «ладоней» по 5 «пальцев». Простой египетский локоть считался в 24 (египетских) «пальца», т. е. в 6 «ладоней» по 4 «пальца». Видимо, аккадский локоть был заимствован египтянами и переинтерпретирован в рамках египетской системы; при этом счет на 30 пальцев для египтян был неприемлем, так как египтянин имел в «ладони» только 4 «пальца» (δб буква 'айн араб.); еще один (большой) не назывался (и не осознавался) «пальцем», а имел особое название '(n.t.)', в отличие, по-видимому, от шумеров и аккадцев. В шумерском зафиксировано одно название для пальца — *dubbin* на аккадский переводится как *šurru* 'когти, птичьи когти, ногти', *šumbu* 'палец' и *ubāru*. Последнее восходит к прасемитскому названию «большого пальца»: ср. др.-евр. *bəhōn*, *bəhēn*, араб. *abham*, *biham*, *bahim*, халдеец *hābēn* 'большой палец', vs др.-евр. *esbā*: араб. *asba*, угар. *usb*, гезз. *ašbā'et*, южно-аравийск. 'sb' сир. *šabb'a*, аккад. *šumbu* 'палец' (связанное с египт. δб'), но употребляется и для названия пальца: ср. *ina ū-ba-ni-šū si-qī-ti* 'на его мизинец' (*ši-qī-ti* 'маленький'). Оно же является названием меры. Заимствовав 30-пальцевый локоть, египтяне были вынуждены интерпретировать его как состоящий из 7 «ладоней», т. е. 28 «пальцев». Впоследствии именно этот локоть становится общеупотребительной мерой и начинает делиться на 24 «пальца». Это и есть простой локоть мусульманского мира, и над ним надстраивается новый—28-пальцевый—см.: Erman-Grapow. VI, 34, 52; Gesenius. 67, 92, 93; Brockelmann. 628; Dillman. 1283; Aistleitner. 33; Delitzsch Ass. 8, Delitzsch Sum. 145 [9. 349—415].

Таким образом, можно свести относительную систему к двум разновидностям: (а) с наиболее употребительными «аршинами» в 24 и 40 пальцев (что при установленном значении ширины пальца 2,1—2,3 см (см.: [3, 62; 2, 109]) приблизительно соответствует «абсолютной» длине локтя в 50 см и соответствующей «абсолютной» длине руки), и (б) с наиболее употребительными «аршинами» в 28 и 49 пальцев; по аналогии с первой разновидностью они, видимо, должны соответствовать условно длине локтя и длине руки (метрически—59—64 и 102—113 см). Полусажень антропометрически приравнивается к двум локтям (ср. хотя бы араб. *ba'* „сажень“=4 локтям), и ее размеры в этих системах должны быть равны соответственно 100—116 и 118—128 см.

Реальные значения среднеазиатских «аршинов» распределяются по антропометрическим значениям мер следующим образом.

«Локоть»

(а) канонический *gaz* (= *daḡ'*, *ḡiga'*) (24 «пальца»), *qaḡi* по Бабуру («6 кулаков по 4 пальца»), *gaḡi* азерб. диал. (Газах, Балакен) «мера длины около 50 см», ферганский *gaz* в 3 *суям* (пяди) $\approx$ 54 см (построен, очевидно, на основе арабского «черного локтя» в 54,04 см, который считается в 24 пальца по 2,252 см—см.: [3. С. 62]);

(б) хорезмский *gaz* для измерения ткани (28 «пальцев», 61,04 см); ферганская мера для измерения бязи *калте-кары* 57,79 см (построена, видимо, как египетский «суконный *ḡiga'*»=58,187 см, 28 «пальцев»). Так же построены (при большей ширине пальца) «суконный *ḡiga'*» Дамаска (63,036 см), Триполи (64 см) и *ḡiga'* Билали («малый локоть Хашими»=60,045 см—см.: [3]); кокандский *gaz* (62,195 см). От локтя в 28 пальцев, очевидно, произведен в рамках относительной системы «шариатский *gaz*»: в 28 пальцев+длина большого пальца (приравниваемая к 3 пальцам), т. е. 7 кулаков по 4 пальца, причем у последнего выставлен большой палец;=31 палец; значение от 68,58 до 70,68 см; сюда же следует отнести среднеазиатский *alčīn* $\approx$ 70 см [10]. Как видно из метрических значений этой меры, она построена ради переинтерпретации в рамках системы «абсолютной» длины руки.

«Длина руки»

(а) «Королевский локоть» государства Великих Моголов в 40 пальцев=81,28 см; *daḡ'i*—*isfaḡan*=79,8 см; бухарский строительный *gaz* 78,74 см (видимо, из «строительного локтя Кашканади»=77,5 или 79 см); сюда же «суконный локоть» Багдада и Басры XVI в.=82,9 см и, возможно, «путевой *qaḡi*» по Бабуру (36 пальцев=75—80 см; может быть, пересчет определенной меры на более крупные «пальцы»; очевидно, та же мера — *aršīn* по шейху Сулейману: 3 больших пяди, т. е. пяди по 12 пальцев=36 пальцев. См.: Наджип, Кутб. 170); при большей ширине пальца (2,28 см) — среднеазиатский «базарный *gaz*» в 39 пальцев=88,9 см; суратский «суконный локоть»=91 см;

(б) [11] «земельный *gaz*» Хорезма=«шахский *gaz*» Самарканда=газ для измерения тканей Самарканда=106,68 см.

К этой же категории относится зафиксированное у Радлова и Вамбери *qaḡi* (Р. II, 183 чар.; II, 184 тар, Vam. č Spr. 311) «длина руки» и, видимо, чаг. *qaḡi* «аршин каменщика» — Абуш. 319; Буд. II, 12—13 (т. е. «строительный *gaz*»?).

«Полусажень»

(а) (см.: [11]): турк. *ḡary*, кир., ккал. *ḡary* «расстояние от сере-

дины груди до концов пальцев вытянутой руки; персидский *gaz* = 104 см = халадж. *qarī* 104 см; хотанск. *qarī* 'мера длины около 1 м', турк. диал. (Емрели) *гары* '5 больших пядей' (антропометрически ≈ полусажени).

(б) не зафиксировано.

«Сажень»

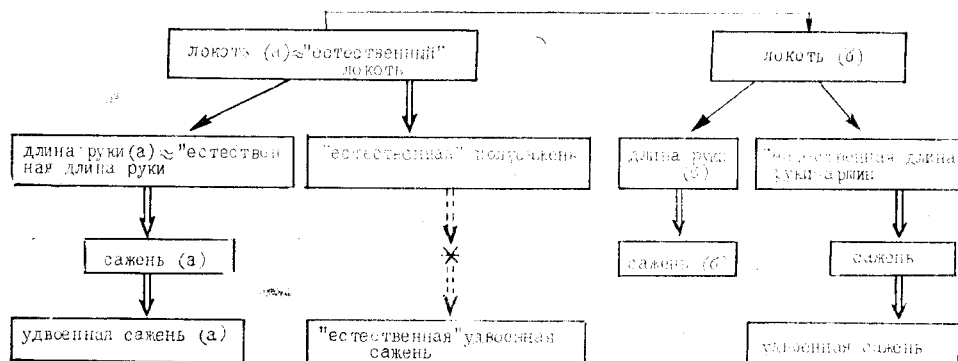
(а) (только удвоенная «длина руки») «базарный *qarī*» (=2 базарных *gaz*'а по 39 пальцев ≈ 178 см), = андижанский *qarī*; ферганский *qulač* (букв.: 'маховая сажень') (=2 строительных *gaz*'а = 167,5 см), ферганский *qulač-qarī* или *uzun-qarī* для измерения хлопчатобумажной и шелковой материи = 164,45 см;

б) (только удвоенная «длина руки») «ханский *qarī*» = 2 ханских *gaz*'а по 49 пальцев = 213,36 см (=3 русских аршина);

(в) (удвоенный аршин в 31 палец, т. е. удвоенная длина руки) хивинский *qarī* ≈ 142 см (два русских аршина); бухарский *qulač* для измерения тканей 142,24 см; уз. *qarī* 140—145 см; хорезмский *qarī* 148,94 см (ср. «весовой локоть» 145,608 см, = 2 «локтя калифа Омара»; введен Аббасидом ал-Мамуном (до 833 г.), употреблялся для измерения каналов).

Удвоенная «сажень»

Среднеазиатский *qarī* 1876 г. (=2 русские сажени, по ≈ 178 см, или = 2 базарных *qarī*); ткацкий *gaz* в бассейне р. Хингоу (двойной *qulač*); бухарский *qarī* для измерения ткани (=320,04 см; удвоенная сажень на основе локтя в 40 пальцев ≈ 80 см); возможно, сюда же хуфский *гилым-газ* (268—275 см — удвоенная сажень на основе аршина в 31 палец?).



Приведенная раскладка, конечно, весьма приблизительно восстанавливает систему антропометрических моделей, лежащих в основе всего многообразия среднеазиатских мер, возникшего в результате многократного заимствования и переинтерпретации нескольких систем мер и отдельных мер длины. Реконструкция этих исходных систем и истории их развития возможна только на основе анализа истории каждой конкретной меры.

Имеются, однако, некоторые общие для Средней Азии особенности. Во-первых, это единый принцип построения системы через «удвоение» начиная с «локтя», причем последний, неограниченно увеличиваясь, сохраняет свое наименование [кроме *biga'* и *qarī*, это еще перс. *agaš*, тюрк. (из пехлеви) *aršīn*]. Во-вторых, в этой «удвойтельной» системе

своеобразно строится сажень — не как удвоенная полусажень, учетверенный локоть, а как удвоенная длина руки. Оба этих явления, видимо, можно объяснить следующим образом.

Само по себе удвоение локтя без изменения названия меры происходит, вероятно, типологически часто (ср. франц. *aune* ≈ 120 см < франк. **alīna* 'предплечье' = нем. *Elle*) и основывается на наличии так называемого «кругового локтя» — меры веревок и узких полос ткани, которые обматываются при измерении вокруг предплечья (ср. чуваш. *хур* < **qar* '2 локтя, мера кругом локтя'). Но более крупные меры, чем полусажень, таким образом построить невозможно. В среднеазиатской системе мер тюркоязычное и арабоязычное названия «локтя» приравниваются к персоязычному *gaz*. Это слово возводится к иран. **gaza-*: хотанско-сак. *gausa-* 'тростник' (также в производном: *gausakya-* 'флейта'); осет. дигор. *qāza*, ирон. *qāz* 'тростник, камыш', ягноб. *ṡazak* 'камыш' (> тадж. диал. (матчин.) *ṡazak* 'то же'), белудж. *gaz* 'тростник'; перс. *gāz* 'тамариск, гребенщик' = тадж. *gaz* 'то же'; пушту *ғаз* м. 'тамариск, гребенщик'. Видимо, из перс.: курд. (курманджи) *gāz*, -e ж. 'кустарник с ароматной красноватой корой (идет на изготовление мундштуков для курения), колючий, смолистый мелкий кустарник (употребляется как топливо)' (тамариск; оформление женским родом типично для заимствований — см.: Курдоев с. 524), курд. (сорани) *gez* 'тамариск'; сангл. *gāz*, *gazek* 'тамариск'. Сомнительно отнесение к этой же этимологии пушту *ṡōza* 'хворост' (могло бы восходить к **gā:zā* или **gauzā* (:)/*ī* (:)) [12], но не к **gāzā-*). Памир. формы: шугн. *žī:z* м., сарыкол. *žez*, руш., хуф. *žoz*, ишканим. (сангличи) *yōz*, *yūz*, *yuz*, *yū* 'топливо, дрова' (сангл., возможно, из вах. — см.: *Morgenstierne*, II, 302, § 27); вах. *yūz* 'хворост, топливо' (могут восходить к **gāza-* — см.: [13. С. 25]), видимо, представляют местное развитие значения. См.: Bailey. 80; Абаев. II, 302; Стеблин-Каменский. 90; *Morgenstierne*. II, 424; *Morgenstierne*. ESh, 111; Соколова Руш. 304; Зарубин. 288; Пахалина Сарык. 230; Асланов. 607; Бакаев. 95; Курдоев—Юсупова. 569. По-видимому, первоначальное значение слова — «тростник, камыш». Оно сохраняется во всех североиранских языках. Перс. *gaz* 'мера длины' (заимствовано в другие ир. языки: курд. (курманджи) *gaz* ж., (сорани) *gez*, талыш. *gāz*, парачи *gaz*, пушту *gaz* м. р., йидга *gaz*, мундж. *gāz*, руш., хуф. *gāz*, *gaz*, сарык. *goz*, язг. *gūz*, сангл. *gaz*, вах. *gaz* — см.: Бакаев. 92; Курдоев. 270, 276; Курдоев—Юсупова. 569; Пирейко. 51; *Morgenstierne*. I, 25; II, 211, 394; Асланов. 730; Зудин. 432; Лебедев. 437; Грюнберг. 299; Соколова. 179; Пахалина Сарык. 65; Эдельман. 98; Грюнберг—Стеблин-Каменский. 347) стоит несколько особняком. Семантическое развитие на собственно персидской почве ('тамариск' ⇒ 'мера длины') маловероятно. Видимо, здесь можно предполагать парфянизм, причем соответствующее парфянское слово было бы переводом арамейск. *qanīā* 'тростник; мера длины (с различными значениями)'. Само арамейск. *qanīā* как мера восходит к аккад. *qānū* 'тростник, тростниковая мерная линейка в 6 локтей': эта мера была общепринятой во всей древней Передней Азии [14; 9]. При этом в качестве восходящего к общесемит. названия тростника (аккад. *qānū* 'тростник, мера в 6 локтей', араб. *qanā*, *qanāt* 'тростник, тростниковое копье', угарит. *qn* 'тростник, трубчатая кость руки', др.-евр. *qāneḥ* 'тростник; образн.—трубчатая кость руки, древко светильника; мера в 6 локтей' — см.: Aistleitner. 268; Delitzsch. 588; Gesenius. 735), *qanīā* дает в арамейском развитие значения: 'тростник' ⇒ 'трубка' ⇒ 'трубчатая кость' ⇒ 'кости предплечья, крыла' ⇒ 'предплечье' ⇒ 'локоть (мера)' (Brockelmann. 677). Таким образом в арамейском у слова *qanīā* представлено было два метрологическ. значе-

ния—«локоть» и «6 локтей» (1,5 сажени); при этом в переводном с греческого текста по римскому праву *capia* употреблено как эквивалент греч. *ἄλ' αἰνα* «мера в 8 локтей» (2 сажени) (с оговоркой, что это *capia* в 8 локтей) [9. С. 582—583]. Естественно, что парфянский перевод должен был сохранить многозначность арамейской меры; наложение этой многозначности на механизм «удвоения» локтя в полусажене могло привести к развитию среднеазиатского типа, тем более что арабская мусульманская традиция из ближневосточных «тростниковых» мер приняла именно возникшую под влиянием римско-греческой традиции 8-локтевую (двухсаженную) *qaṣaba*, букв.: «тростник»). Так могла образоваться система, в которой используются меры в локоть, 2, 4 и 8 локтей, и для них имеется общее название. Далее в этой системе должен был возникнуть механизм пересчета, приводящий к отождествлению «полусажени» с «длинной руки». Такую возможность могло дать наличие иранского наименования сажени как формы двойственного числа от названия руки: авест. (Младшая Авеста) *bāzu*, сохранилась в перс. *bāz* «сажень», белудж. *gwāz id*, пушту *wāzə f. id.*, см.: Bartholomae. 956, Bailey. 277, Morgenstierne. EPsht. 94; Абаев. 1, 242. Поскольку форма со значением меры фиксируется и в восточной, и в западной группах иранских языков, это употребление может считаться общеиранским. Первоначальное значение формы двойственного числа можно интерпретировать как «пара рук», что естественно дает значение «расстояние между концами пальцев вытянутых в стороны рук», т. е. «сажень», но далее, попадая в «удвойтельную» систему, такое название сажени могло интерпретироваться как «две руки» ⇒ «две длины руки».

Таким образом, вышеприведенные особенности среднеазиатской системы мер длины объясняются прохождением старой ближневосточной системы через среднеиранскую языковую среду. В связи с этим можно сделать два замечания относительно русских традиционных мер длины: 1) введенная в XVII в. как основная государственная мера трехаршинная сажень, по-видимому, равняется среднеазиатскому «ханскому *qaḡi*»; таким образом, ее наименование «государева (царская) сажень» может быть калькой названия этой среднеазиатской меры; 2) если наименование восточно-славянской меры «косая/косовая сажень» действительно восходит к араб. *qaṣaba* (см.: [7. С. 59]), следует полагать, что эта мера получена русскими и украинцами через среднеазиатское посредство. Действительно, араб. *qaṣaba*—удвоенная маховая сажень, = 8 локтей, 399 см. Русская же «косая сажень» имеет размер 288 см., т. е. удвоенная «сажень» в 144 см — удвоенная среднеазиатская сажень, построенная на «аршине» в 72 см (31 палец, длина руки—см. выше) [15].

И С Т О Ч Н И К И

- Абаев — Абаев В. И. Историко-этимологический словарь осетинского языка. М.; Л., 1958. Т. 1; Л., 1973. Т. 2—3.
 Абрамян — Абрамян Р. Пехлевийско-персидско-армяно-русско-английский словарь. Ереван, 1965.
 Андреев—Пещерева — Андреев М. С., Пещерева Е. М. Ягнобские тексты. М.; Л., 1957.
 Асланов — Асланов М. Г. Афганско-русский словарь. М., 1966.
 Бакаев — Бакаев Ч. Х. Курдско-русский словарь. М., 1957.
 Боровков Тефс. — Боровков А. К. Лексика среднеазиатского тевсира XII—XIII вв. М., 1963.
 Будагов — Будагов Л. Сравнительный словарь турецко-татарских наречий. Спб., 1869. Т. 1; 1871. Т. 2.
 Гаффаров — Гаффаров М. А. Персидско-русский словарь. М., 1914. Т. 1; 1927. Т. 2.

- Грюнберг — Грюнберг А. Л. Языки Восточного Гиндукуша: Мунджанский язык. Л., 1972.
- Грюнберг—Стеблин-Каменский — Грюнберг А. Л., Стеблин-Каменский И. М. Языки Восточного Гиндукуша: Ваханский язык. М., 1976.
- Зарубин — Зарубин И. И. Шугнанские тексты и словарь. М.; Л., 1960.
- Зудин — Зудин П. Б. Краткий афганско-русский словарь. М., 1950.
- Курдоев — Курдоев К. К. Курдско-русский словарь. М., 1960.
- Курдоев—Юсупова—Курдоев К. К., Юсупова З. А. Курдско-русский словарь (сопрани). М., 1983.
- Лебедев — Лебедев К. А. Карманный афганско-русский словарь. М., 1962.
- Наджип Кутб—Наджип Э. Н. Историко-сравнительный словарь тюркских языков XIV в.: На материале «Хосрау и Ширин» Кутба. М., 1979. Кн. I.
- Пахалина Сарык. — Пахалина Т. Н. Сарыкольско-русский словарь. М., 1971.
- Пирейко — Пирейко Л. А. Талышско-русский словарь. М., 1976.
- Радлов—Радлов В. В. Опыт словаря тюркских наречий. СПб., 1893—1911. Т. 1—4.
- Соколова Руш. — Соколова В. С. Рушанские и хуфские тексты и словарь. М.; Л., 1959.
- Стеблин-Каменский — Стеблин-Каменский И. М. Очерки по истории лексики памирских языков: Названия культурных растений. М., 1982.
- ТИС—Фарханги забони тоҷики (аз асри X то ибтидои асри XX). М., 1969. Т. 1—2.
- Эдельман — Эдельман Д. И. Язгулямско-русский словарь. М., 1971.
- Aistleitner — Aistleitner J. Wörterbuch der Ugaritischen Sprache. Berlin, 1965.
- Bartholomae—Bartholomae Ch. Altiranisches Wörterbuch. Berlin. 1961.
- Bailey—Bailey H. W. Dictionary of Khotan Saka. Cambridge, 1979.
- Brockelmann — Brockelmann C. Lexicon Syriacum. Halle, 1928.
- Delitzsch Ass. — Delitzsch F. Assyrisches Handwörterbuch. Leipzig, 1968.
- Delitzsch Sum. — Delitzsch F. Sumerisches Glossar. Leipzig, 1969.
- Dillmann — Dillmann A. Lexicon linguae aethiopicae cum indice latino. Lipsae, 1865/New Jork, 1955.
- Erman—Grapow—Erman A., Grapow H. Wörterbuch der Aegyptischen Sprache. Berlin, 1950. Bd. 6.
- Frisk — Frisk H. Griechisches etymologisches Wörterbuch. Heidelberg, 1960. B. 1—2.
- Gesenius — Gesenius W. Hebraisches und aramäisches Handwörterbuch über das Alte Testament. Leipzig, 1899.
- Geyger — Geyger W. Etymologie des Baluci//ABAW. 1891. 19. S. 105—154.
- Horn — Horn P. Grundriss der neupersischen Etymologie. Strassburg, 1893.
- Kent — Kent R. G. Old Persian. New Haven, 1950.
- Mayrhofer — Mayrhofer M. A concise etymological Sanskrit dictionary. Heidelberg, 1963. 1—2.
- Morgenstierne — Morgenstierne G. IIFL. Oslo, 1929. Vol. 1: Parachi and Ormuri; Oslo, 1938. Vol. 2: Iranian Pamir Languages (Yidgha-Munjī, Sanglicheh—Iskashimi and Wakhi).
- Morgenstierne EPsht. — Morgenstierne G. An etymological vocabulary of Pashto. Oslo, 1927.
- Morgenstierne ESh — Morgenstierne G. Etymological vocabulary of the Shugni group. Wiesbaden, 1974.

П Р И М Е Ч А Н И Я

¹ Сведения по метрическим значениям мер мусульманской традиции взяты из сводных работ [2] и [3].

² Давидович Е. А. Материалы по метрологии средневековой Средней Азии. М., 1970.

³ Хинц В. Мусульманские меры и веса с переводом в метрическую систему. М., 1970.

⁴ Относительно протезы h- ср. также белудж. hirs 'Neid' (авест. araska), haur 'Regen' (авест. arwa, курд. Мукри hāūr)—См.: Geyger. 128.

⁵ Основы иранского языкознания: Среднеиранские языки. М., 1981.

⁶ В Bailey 8 при язгулямской форме ошибочно стоит «йидга».

⁷ Романова Г. Я. Наименования мер длины в русском языке. М., 1975.

⁸ Относительные системы, вероятно, не возникают сами по себе в каждом отдельном месте. Два обследованных нами к настоящему времени типа относительных систем мер длины с определенностью связываются с двумя центрами древней цивилизации: один, «двенадцатиричный», (см. примеч. 3) с ближневосточным (египетско-месопотамским), другой, «десятиричный» (базовая единица — «дюйм», 10 «дюймов» = 1 «фут», следующая единица — 10 «футов» и т. д.) — с китайским.

⁹ *Hultsch F. Griechische und römische Metrologie. Berlin, 1882.*

¹⁰ Сюда непосредственно не следует приравнивать арабский «царский локоть» = «большой локоть Хашими» в 32 пальца = 66,5 см (и, видимо, построенные аналогично алеппский «суконный локоть» в 66,5 см, персидский «укороченный gaz» для измерения дорогих тканей в 68 см, стамбульский «суконный локоть» в 68 см, «локоть калифа Омара» в 72,5 см). Эта мера восходит к римскому провинциальному двухфутовому локтю — мере, искусственно введенной в Египте ради перестройки местной системы, выстроенной на соотношении ручных мер, по римскому образцу, — в систему с базовой единицей «длина ступни». Сам римский «двухфутовик», впрочем, по-видимому, основывается на двузначной римской мере *ulpa* 'локоть' или 'длина руки' — см. [9. С. 77—78, 617—619].

¹¹ Поскольку «длина руки» по системе (б) (49 пальцев) близка к «полусажению» по системе (а) (удвоенный локоть = 48 пальцев), в принципе разделить эти меры затруднительно. Мы помещаем в этот раздел для определенности только меры, о которых известно, что их интерпретировали как 49 пальцев. Сама эта мера строится как производная от 28-пальцевого локтя, т. е. это 7 кулаков по 4 пальца, у каждого из которых выставлен большой палец (= 3 пальцам). Отметим, что зафиксированный метрический размер «полусажения» (см. ниже) меньше 49-пальцевой «руки» на 2,68 см, что довольно близко к «ширине пальца».

¹² К распределению в пушту рефлексов -au- в зависимости от места ударения ср. афг. *swáb* 'страсть' — др.-инд. *kóras* 'возбуждение, гнев', афг. *kuáb, kú:b* 'горб' — слав. **kŭrъ*, афг. *ywáz* 'ухо' — др.-инд. *ghósas* 'слух', афг. *šwála* 'рези в животе' — др.-инд. *ksoda-* 'Stoß, harter Anschlag', афг. *lwáli:* 'учится, читает' — др.-инд. *bódhati* 'бдит, познает' при: афг. *zōšá, zoḡā, zoḡá:* 'род сиропа' — др.-инд. *jōsas m.* 'удовольствие', афг. *tōmá* 'семя' — др.-инд. *tó:kman* 'семя' (материал по распределению принадлежит В. А. Дыбо; этимологии афг. слов см. в *Morgenstierne. EPsh.* 18, 41, 49, 74, 78, 103, 242).

¹³ *Соколова В. С. Генетические отношения язгулямского языка и шугнанской языковой группы. Л., 1967.*

¹⁴ Из семит. заимствовано греч. *κατων* (с византийского периода) 'мера в 6 локтей' — см.: *Frisk. 780.*

¹⁵ Транскрипция в статье упрощена по техническим причинам.

И. В. ДРОН

ЯВЛЯЕТСЯ ЛИ КИШИНЭУ ЛАТИНИЗМОМ ИЛИ ТЮРКИЗМОМ?

Кишинэу (рус. Кишинёв) — название столицы Молдавской ССР. История происхождения этого названия издавна привлекает внимание исследователей — как языковедов, так и неязыковедов. А. Зашук высказал мнение, согласно которому *Кишинэу* восходит к тат. *кешен аул* 'монастырь; хутор' [1. С. 96]. В. Г. Фоменко считает, что этимолоном в данном случае послужил тюркский апеллятив *кишения* 'надгробный памятник; место погребения; мавзолей; сховище' [2. С. 221—224]. Тюркское происхождение топонима Кишинэу (Кишинев) поддерживает Н. Д. Равевский [3. С. 56—60].

Исследователь топонимии территории современной Молдавии А. И. Еремия с осторожностью пишет, что можно было бы возводить *Кишинэу* к тюрк. *кешене* и для сравнения приводит некоторые среднеазиатские созвучные названия: Кешене Алы; Кешене Булак [4. С. 44], однако в то же время считает, что в основе названия лежит апеллятив молдавского происхождения *кйшнэ* (*кишнэу*) 'источник; родник; артезианский колодец' [5; 6. С. 50]. Апеллятив *кйшнэ* (*кишнэу/кишинэу*), по его мнению, из молдавского исчез, сохранившись лишь в топонимии.

В энциклопедическом издании «Кишинёв» [7. С. 18] отмечается, что «...среди ряда мнений по поводу происхождения названия „Кишинёв” наиболее убедительно мнение молдавских ученых о том, что ныне исчезнувшее из обихода слово «кишинев» издавна употреблялось в Молдавии для обозначения источника, родника (*кишинэу*, *кишнэу*). В данном случае это слово первоначально использовалось для обозначения источника на берегу р. Бык, а со временем — населенного пункта, возникшего у этого источника в 15 в.».

Мнение о том, что название Кишинэу (Кишинев) восходит к молд. *кишинэу* 'источник; родник', в настоящем укоренилось и часто приводится в различного рода работах [8], на страницах республиканских журналов и газет. Это мнение утвердилось в Молдавии после появления статьи Г. Ф. Богача о молдавской топонимии [10. С. 94—95], в которой была выдвинута гипотеза о существовании в прошлом молдавского слова *кишинэу* (*кишинэу*) 'источник; родник' (от него якобы и возник топоним Кишинэу; однако слово *кишинэу/кишинэу* не встречается ни в одном молдавском словаре, не включено таковое и в словари румынского языка или в словари других восточно-романских говоров и языков).

Молдавское происхождение топонима Кишинэу поддерживают Д. М. Драгнев, П. Г. Дмитриев [11. С. 6—7], а также А. И. Еремия

[12. С. 29—39]. А. И. Еремия в «Топонимическом вопроснике» [13. С. 25] приводит два апеллятива: *ки́шнэ* и *киштелни́цэ* без указания значений. *Киштелни́цэ/киштелни́цы* известен в молдавских говорах в значении «луг с влажной почвой, где растет камыш, рогоз»; «зыбкое, болотистое, топкое место» [ДД; 6. С. 51], однако *киштелни́цэ*, на наш взгляд, не имеет ничего общего с *ки́шнэ* (даже если в каком-либо молдавском говоре бытует таковое и в настоящем). *Киштелни́цэ* находится в родственной связи с молд. диал. глаг. *кифте́шти* 'выходит (о жидкости, о воде) под давлением; (течет) просачивается, капает (очень медленно) из какого-л. сосуда под давлением, сквозь какие-л. отверстия или трещины маленьких размеров' [ДД], с молд. разг. *а кифти́* и лит. *а пифти́* '(о воде) выходить, sprysnúti (выходить под давлением на поверхность) из-под земли' и румын. *a chifti* (с тем же значением), которые в восточно-романских языках считаются экспрессивными и ономотопеическими образованиями [СДЕЛМ; DER; 6. С. 51].

Если предположить, что в молдавском когда-либо и существовало *ки́шнэ/ки́шнэу* (из которых *ки́шнэ* имеет форму ж. р., а *ки́шнэу* — м. р.), то указанные лексемы являются сложносоставными апеллятивами. Первую часть *киш-* можно возвести к восточно-романскому разг. *киш-* (ср.: арум. *kişu* «pisser» и мегленит. *chiş(ari)* <лат. *pissiare* [DDA; DER]), а вторая часть, в которой наличествует аффикс славянского происхождения *-н-*, может находить объяснение только за пределами молдавского языка. Сам же А. И. Еремия считает, что молдавскому языку не известен аффикс *-н-(а)* [14. С. 75]; следовательно, от молдавских основ не могут образовываться названия с аффиксом *-н-*, но не противоречит ли это положение его же ранее высказанному мнению о бытовании в прошлом в молдавском апеллятива *ки́шнэ (ки́шнэу/ки́шинэу)* 'источник; родник'? Если же учесть, что звукосочетание *-эу* в конце многих топонимов (в молдавской огласовке) образовалось из слав. *-ов*, как, например, *Василково* > *Василкэу*; *Воронково* > *Воронкэу* [12. С. 35; 6. С. 76], то выходит, что и *Ки́шинэу* образовался из *Ки́шинёв*, а не наоборот, и тогда вообще нелепимо свести *Ки́шинэу* к какому-либо молдавскому *ки́шнэу/ки́шинэу*.

Ки́шнэу/ки́шинэу, в составе которого вычленяется окончание *-(э)у*, можно было бы включить и в ряд апеллятивов, оформленных при помощи аффикса *-эу*, который у некоторых авторов считается венгерским по происхождению [15. С. 76, 95, 97], и предполагать, что данный апеллятив в молдавском мог образоваться только после первых языковых контактов между молдаванами и венграми. Однако окончание *-(э)у* активно участвует и в образовании молдавских апеллятивов с основой как латинского, так и иного происхождения, в том числе автохтонного. Ср. по [ДД и СДЕЛМ]: *куркубеу/куркубэу* 'радуга' — полностью восточно-романское образование <лат. *curcus bibit*; *кисэу* — посудный инструмент кустарного изготовления, используемый в домашних условиях для толчения чеснока, сахара, других пищевых продуктов <молд. *а писа* 'дробить; толочь'+*эу* (явление перехода начального *п* > *к* в молдавских говорах является распространенным; ср. разг. формы: *кипер* 'перец', *а кика* 'падать', *кирон* 'гвоздь', *кичор* 'нога', *кятрэ* 'камень' и соответственно их литературное написание: *пипер*, *а пика*, *пирон*, *пичор*, *пятрэ*); *пырэу* 'ручей; небольшая речка' (в молд. является автохтонным); *рэу* 'злой; плохой' <лат. *reus*.

В настоящем слова на *-эу* в молдавском образуются активно от заимствованных основ в том случае, когда слово-этимон оканчивалось ударным гласным, например: *бурдэу* [ДД] 'темно-красного, бордового

цвета' <бордо < фр. *bordeaux*; *кинэу* 'кино' < рус. *кино*; *кэлэу* 'палач' < цыг. *кало* 'черный' [СДЕЛМ].

Можно предполагать, что подобный процесс был известен и на раннем этапе развития молдавского языка, т. е. до XII—XIII вв. Здесь мы исходим из факта бытования в молдавском таких лексем, как *Зэу* — название божества в прошлом, в настоящее время *зэу* используется лишь в качестве компонента в клятвенных формулах; *Агэнэу* (*Агэнэул*) — название древнемолдавского ритуального танца огня [16. С. 9—11, 33], которые имеют параллели в индоарийской мифологии (*Агэнэу* образовано при помощи окончания *-(э)у* от автохтонной основы **Агн-*, *Аган-*, *Аганэ-*; см. и [17]); **Аг(а)ни/Агане* > молд. *Аганеу* > *Аганэу* > *Агэнэу*.

Учитывая изложенное, присоединяемся к предположению, что молд. *кишинэу* образовалось от основы **кишинэ* (< *кишинэ* < тюрк. *кишине* / *кешене*; молдавскому языку чужды собственные апеллятивы с ударением на конечный гласный): собственно *кишинеу/кешенеу* образовано в молдавском позже, т. е. после заимствования соответствующей тюркской формы, а еще позднее > *кишинэу*.

Тюркский этимон (с учетом того, что впервые *кишинэу* (*кишинеу*) упоминается в исторических документах, по мнению некоторых исследователей, в 1420 г. [21. С. 163]) молдавского *кишинэу* мог бытовать на территории Молдавии и Пруто-Днестровья как тюркский («золотоордынский») апеллятив в XIII—XIV вв. Именно в этот период здесь процветало одно из золотоордынских государственных образований [22. С. 79—82].

Основные диалекты золотоордынцев в Северо-Западном Причерноморье, несомненно, были кыпчакскими [23. С. 59—66]. Из кыпчакских диалектов и проник в молдавский первоначальный этимон апеллятива *кишинэу* < тюрк.-кыпчак. **keşenē* 'мавзолей'. Ср.: кум. *kesenā* 'надгробное сооружение' (*Codex cumanicus*); кирг. *käsänä* 'мавзолей'; карачаев.-балк. *кешене* 'мавзолей', в отличие от карачаев.-балк. *кэабэр*, *оба*, *кёр* 'могила'; тат. *kesen* 'небольшой отдельный монастырь; скит; куполообразный мавзолей'; башк. *кәшәнә* 'мавзолей' и др. Первоисточником тюрк.-кыпчак. *keşene/kesene/кәшәнә* является персидское *کاشانه* [кашанэ] 'дом; жилище, обиталище' [24. С. 642; 25. С. 297], но семантический сдвиг «мавзолей; склеп» произошел на тюркской (кыпчакской) почве [26. С. 594] (с учетом классификации тюркских языков в кыпчакско-половецкой подгруппе) [27; 18].

Польско-литовский посол Мартин Броневский, который в 80-х годах XVI в. ездил в Крым, писал, что у р. Буг «...видны каменные развалины, склепы и гробницы, которые, говорят, принадлежали туркам или татарам и обыкновенно называются кишений, т. е. памятники» [28. С. 333—334].

В этой связи представляет интерес мавзолей дочери Кармыш-бая, жены Мамыш-бека — Барчын-Салор — одной из женщин-беков в Огузском иле. Ее могила-мавзолей находится на берегу р. Сыр и известна среди узбеков и казахов, которые называют этот мавзолей *Кок-кесене* 'голубое жилище (мавзолей)', как великолепный гумбез, убранный изразцами.

Кок-кесене (Кок-кесене) [29] — архитектурный памятник, расположенный в окрестностях Сыгнака (средневековый город в Казахстане близ ст. Тюмень-Арык; здесь сохранились многочисленные остатки стен, мечетей, медресе, мавзолеев — СЭС) в низовьях Сырдарьи [31. С. 78, примеч. 191]. Изучение как самого памятника, так и развалин могил, лежащих рядом, позволило исследователям сделать вывод, что здесь был некрополь. По мнению В. А. Калаура, который видел и описал Кок-

кесене в 1901 г., здание имело внутри склеп, а над ним гробницу и являлось мавзолеем-некрополем белоордынских ханов из рода Шейбана [32. С. 309].

Местности Молдавии, в наименования которых входил термин *кишинев* (*кишинэу/кишень*), часто упоминаются в исторических документах и в переписке XV—XVI столетий. Так, например, в одном из описаний 1419 г. сообщается о приднестровских Митеревых Кышинах [33. С. 2], а в одной из грамот Молдавского феодального государства 1436 г. записано: «...близ Быку на той стороне, на долину, что падает против Акбашева Кешенева у Кръница, где есть татарская селище». В грамоте 1458 г. отмечен другой Кешенев: «...и от червленого Кешенева до дил Загорни...» [34], т. е. речь идет о *Кешеневе*, находящемся недалеко от современного с. Кицканы Слободзейского района, в отличие от *Акбашева Кешенева* 1436 г., который находился на месте современного г. Кишинева (и в черте современных границ данного города).

Грамоты Молдавского государства (примеры приведены выше) ясно указывают, что один *кешенев* был *акбаш*, т. е. «белоголовый» (с белым верхом или куполом), другой — *червленный* (ярко-малинового цвета), ср. и упомянутый выше *Кёк-кесене* — голубой.

В конкретных случаях прилагательные *акбаш*, *червленный*, *кёк* (*кок*) указывают на цвет изразцов или цвет покрытий поверхностей куполов мавзолеев. Цвет того или иного мавзолея или купола мавзолея выбирался неслучайно. Известно, что у Чингисидов и тюрок Золотой Орды символика цветообозначений была связана с социальной стратификацией [35. С. 123]. Не может быть и речи об «...источнике Акбашева» (ср. еще раз свидетельство грамоты: «...близ Быку на той стороне, на долину, что падает против Акбашева Кешенева у Кръница, где есть татарская селище») и о «красном или ярко-малиновом источнике» (ср.: «...и от червленого кешенева до дил Загорни»). Добавим, что в обоих этих случаях «источники» (обыкновенные) не могли стать столь сильными ориентирами и что «...нигде... не известно, чтобы на берегу реки с пресной водой какой-либо народ стал отмечать как особые ориентиры самые обычные источники» [2. С. 224]. Действительно, обычный источник не мог стать столь значительным ориентиром в районе будущего города, где на р. Бык с пресной водой еще в XV—XIX вв. находилось не менее 4 водяных мельниц [36. С. 151].

Позднее, во время нахождения буджакских ногайцев в Южной Бессарабии, на *Вале Ярмач*, левом притоке р. Сарата (бассейн оз. Сасык), располагался незначительный населенный пункт Kischene [Кишене] [37; 38].

Исчезновение и разрушение мавзолеев и других культовых сооружений тюрок на территории Молдавии, несомненно, связано с частыми войнами, с противопоставлением христианской и мусульманской религий, особенно в периоды военных и социально-национальных столкновений между восточными романцами (христианами) и тюрками как Золотой Орды, так позже — и других тюркоязычных, в том числе ногайских, государственных образований на территории Пруто-Днестровья, а также с турками-османами [39].

Топонимические параллели встречаем на обширных территориях СССР и за его пределами, т. е. на бывших территориях (временных или постоянных) Золотой Орды и других тюркоязычных государств той поры. Ср.: *Арак Кешень* — «...мечеть по другой стороне реки Кумы» [41. С. 91]; *Турахан кэшәнаһе* — развалины дворца вблизи дер. Нижние Термы — один из памятников древней архитектуры башкир < антропо-

ним *Турахан+кэшэна* 'мавзолей'+аффикс принадлежности *-не* [42. С. 147]; *Кесене* — в Челябинской области [43. С. 57, 59]; Кишинэу пе Криш — название города в Румынии (данный город находится на территории или в регионе расположения половецкой христианской епископии, просуществовавшей в начале XIII в. на границе земель Венгерского королевства и районов расселения волохов, т. е. и районов образования будущего Молдавского феодального государства [44. С. 250], Криш—название реки в бассейне р. Тисы); г. Кишинэу пе Криш расположен на берегу р. Криш,—это еще раз доказывает, что какой-либо *кишинэу* 'источник' не может служить столь мощным ориентиром на берегу реки с пресной водой.

И молдавская антропонимия XVIII в. сохранила ценные сведения относительно термина *кишинэу* (*кешенеу*). Ср. катойконимы (номены для обозначения жителей по названию места жительства) *кешенеоан* и *кишионян* в составе следующих антропонимов: Лупул кишионянул (Ботошень); Андрей кешенеоан (с. Грозештий — Бакэу); Некулай кишионян (махалауа Росаскэ — Яшь); Ионицэ кишиоан (махалауа Тыргул Фэиний — Яшь); Андрей кишионяну (махалауа Хажироаей — Яшь); Андронаки кишионян (с. Устия, околул Ниструлуй; в скобках указаны населенные пункты и уезды) [45. С. 208, 339, 363, 369, 371, 459; 46]. Из приведенных катойконимов-вариантов видно, что ближе всего к первоначальному тюркско-кыпчакскому этимону *keşene* 'мавзолей' стоит катойконим *кешенеоан* (каждый из приведенных катойконимов означает в молдавском «кишиневец»). Фонетическая форма катойконима *кешенеоан* 'кишиневец; житель из какой-либо местности по названию Кешенеу' свидетельствует о том, что в прошлом в молдавских говорах бытовал термин *кешенеу*, который позже развился в *кишинэу*, т. е. первоначальным в молдавских говорах был не *кишинэу*, а *кешенеу*, заимствованный из тюркско-кыпчакских диалектов. При этом данный термин в различных фонетических вариантах бытовал и был известен не только в Пруто-Днестровье, но и в восточно-романских говорах, распространенных на границе расположения земель Венгерского королевства, северных регионов Трансильвании и образования Молдавского феодального государства.

Для более глубокого понимания значения апеллятива *кишинэу* представляют интерес две строки одного из стихотворений молдавского поэта А. Матеевича (1888—1917), который длительное время жил и работал в селах Каушанского района Молдавии (по свидетельству Дм. Кантемира, в Каушанах некогда находился один из политических центров бывших ногайцев Буджака [48. С. 42]):

...Чине штие че адэпост?

Кишинэу спун кэ а фост... [49. С. 941]

'...Кто знает, что (это) за пристанище?

Кишинэу, говорят (что здесь), был...' (перевод автора).

Данные строки А. Матеевич приводит в связи с описанием окрестностей населенных пунктов Каушаны и Заим. Из изложенного явствует, что А. Матеевичу (и, возможно, в молдавских говорах Каушанского района в начале XX в.) было известно слово *кишинэу*, но, правда, уже со смещенным первоначальным значением «пристанище; место, которое может служить временным приютом, убежищем, крепостью».

Таким образом, современный топоним Кишинэу (>рус. *Кишинев*), с учетом бытования названия г. Кишинэу пе Криш (на северо-западе Румынии), восходит к молдавскому апеллятиву *кешенеу/кишинэу* 'мавзолей; памятник; пристанище; место, которое может служить времен-

ным приютом, убежищем, крепостью (возможно, всегда построенными из камня или кирпича-сырца)', быговавшему в отдельных молдавских говорах вплоть до начала XX в. и, в свою очередь, заимствованному, вероятнее всего, в XIII в. непосредственно восточными романцами — молдаванами из тюркско-кыпчакских диалектов, распространенных в упомянутом столетии в северных регионах Карпато-Дунайской зоны и в центральной части Пруто-Днестровья (в более конкретном этническом плане, скорее всего, из диалектов куман). Тюркско-кыпчакское *keşenê* 'мавзолей; склеп' > молд. *кешенеу/кишинэу* 'памятник; пристанище; место, которое может служить временным приютом, убежищем, крепостью'; при этом в молдавских говорах, т. е. на иной социально-культурной и языковой почве, произошло новое осмысление — как названия населенной местности. В конечном итоге *Кишинэу* (> рус. *Кишинев*) признается тюркизмом; мнение о том, что данный топоним восходит к молд. *кишинэу* 'источник; родник' (от якобы лат. *pissiare*), представляется некорректным.

СОКРАЩЕНИЯ

- ДД — Дикционар диалектал. Кишинэу. 1985. Вол. 1—2; 1986. Вол. 3—5.
 СДЕЛМ — Скурт дикционар етимоложик ал лимбий молдовенешть. Кишинэу, 1978.
 СЭС — Советский энциклопедический словарь. М., 1984.
 DDA — *Parahagi Tache: Dictionarul dialectului aromân*. Bucureşti, 1963.
 DER — *Cioranescu Alejandro: Diccionario etimológico rumano*. Tenerife—España: Universidad de la Laguna, 1966.
 TR — *Iorgu Iorăan. Toponimia românească*. Bucureşti, 1963.

ПРИМЕЧАНИЯ

- ¹ *Защук А.* Материалы для географии и статистики России: Бессарабская область. Спб., 1862.
- ² *Фоменко В. Г.* Еще о топониме Кишинев//Ономастика. М., 1969.
- ³ *Раевский Н. Д.* Топониме де орижине ираникэ ши турчикэ//Лимба ши литература молдовеняскэ. 1964. № 1.
- ⁴ *Еремия А.* Нуме де локалитэць. Кишинэу, 1970.
- ⁵ Библиографию по данному вопросу см.: *Еремия А. И., Лунгу М. С.* Молдавская ономастика (1924—1984). Кишинев, 1984. С. 31, 32, 44, 46, 65, 114, 131. Здесь же приводятся и другие мнения о происхождении названия Кишинэу, которые, однако, не представляют научной ценности.
- ⁶ *Еремия А. И.* Тайнеле нумелор жеографиче. Кишинэу, 1986.
- ⁷ Кишинев: Энциклопедия. Кишинев, 1984.
- ⁸ Например, мнение Э. М. Мурзаева в словарной статье *кишлак* [9].
- ⁹ *Мурзаев Э. М.* Словарь народных географических терминов. М., 1984.
- ¹⁰ *Богач Г. Ф.* Заметки по молдавской топонимике и идиоматике//Изв. Молд. фил. АН СССР. 1959. № 12 (45).
- ¹¹ *Дмитриев П. Г., Драгнев Д. М.* Кишинэу сау Кышла Ноуэ//Культура Молдовей. 1959. 21 юние; *они же.* К вопросу о происхождении названия города Кишинева и первых упоминаниях о нем//Тез. докл. 2-й конф. молодых ученых Молдавии. Кишинев, 1960.
- ¹² *Еремия А. И.* Элементе лексикале векь ын топонимия молдовеняскэ//Социально-историческая обусловленность развития молдавского национального языка. Кишинев, 1983.
- ¹³ *Он же.* Кестинар топонимик. Кишинэу, 1967.
- ¹⁴ *Он же.* Об этимологической интерпретации молдавских топонимов славянского происхождения//Социально-историческая обусловленность развития молдавского национального языка. Кишинев, 1983.
- ¹⁵ *Борш А. П.* Модификэрь лексико-семантиче ын вокабуларул лимбий молдовенешть актуале//Социально-историческая обусловленность развития молдавского национального языка. Кишинев, 1983; *Удлер Р. Я.* Фонетическая адаптация венгерских заимствований в восточно-романских говорах контактной зоны//Вопросы молдавской диалектологии. Кишинев, 1982.

- 16 Чиримпей В. А. Урме фолклорико-митоложиче молдовенешть де векиме прото-индоеуропяне//Спенииле фолклориче ши реалитатя историкэ. Кишинэу, 1985.
- 17 Ср.: Вахагн/Вааган/Ваагн—божество солнца и грома у древних армян; Агни—индо-арийский бог огня [18. С. 86; 16. С. 33; 19].
- 18 Косамби Д. Культура и цивилизация Древней Индии: Исторический очерк. М., 1968.
- 19 Санскритское *агни* 'огонь' этимологически родственно славянскому *огнь* [20. С. 77].
- 20 Токарев С. А. Символика огня в истории культуры//Природа. 1984. № 9.
- 21 Боднарский М. С. Словарь географических названий. М., 1958.
- 22 Егоров В. Л. Историческая география Золотой Орды в XIII—XIV вв. М., 1985.
- 23 См.: Добролюбовский А. О., Руссов Н. Д. Новые аспекты изучения кочевнических древностей на западе Золотой Орды//Археологические исследования средневековых памятников в Днестровско-Прутском междуречье. Кишинев, 1985.
- 24 Гаффаров М. А. Персидско-русский словарь: В 2 т. М., 1927. Т. 2.
- 25 Персидско-русский словарь: В 2 т. М., 1985. Т. 2.
- 26 Абаев В. И. Историко-этимологический словарь осетинского языка. М.; Л., 1958. Т. 1.
- 27 Баскаков Н. А. Алтайская семья языков и её изучение. М., 1981.
- 28 Описание Крыма Броневского: Записки Одесского общества истории и древностей. 1867. Т. 6.
- 29 О перебое *s/š* в кыпчакских языках см.: [30. С. 289].
- 30 Тенишев Э. Р. Перебой *s/š* в тюркских рунических памятниках//Структура и история тюркских языков. М., 1971.
- 31 Кононов А. Н. Родословная туркмен: Сочинение Абу-ль-Гази хана хивинского. М.; Л., 1958.
- 32 Греков Б. Д., Якубовский А. Ю. Золотая Орда и ее падение. М.; Л., 1950.
- 33 Хождение инокa Зосимы: Православный палестинский сборник. Спб., 1885. Т. 8, вып. 3.
- 34 Documenta Romaniae Historica: A. Moldova. București, 1975. V. 1; 1976. V. 2 (Док.: 46, 57, 69, 131).
- 35 Юдин В. П. Орды: Белая, Синяя, Серая, Золотая...//Казахстан, Средняя и Центральная Азия в XVI—XVIII вв. Алма-Ата, 1983.
- 36 Курц Р. Кишинэул де алтэ датэ, де азь ши де мыне//Нистру. 1979. № 11.
- 37 Carte de la Moldavie pour servir à l'histoire militaire de la guerre entre les Russes et les Turcs. Levée par l'Etat major sous la direction de F. G. Bawr (1768—1774).
- 38 Копия карты [37] с инв. № 757 хранится в Государственном историко-краеведческом музее МССР. Карта, составленная на французском языке, впервые издана в Амстердаме в 1783 г.
- 39 Подробнее см.: [40. С. 38, 848, 854].
- 40 Guboglu M. Crestomatie turcă. Izvoare narative privind istoria Europei Orientale și Centrale (1263—1683). București, 1978.
- 41 Книга Большому чертежу. М.; Л., 1950. Книга составлена в 1627 г.
- 42 Словарь топонимов Башкирской АССР. Уфа, 1980.
- 43 Аджигалиев С. Абат-Байтак — выдающийся комплекс памятников народного зодчества//Изв. АН Каз. ССР. Сер. филол. 1983. № 2.
- 44 Князький И. О. О половецких епископиях в Карпато-Дунайских землях (сообщение)//Социально-экономическая и политическая история Юго-Восточной Европы до середины XIX в. Кишинев, 1980.
- 45 Молдова ын епока феудализмулуй. Кишинэу, 1975. Волумул 7. Партя 2.
- 46 Не лишне напомнить, что и два жилых района современного г. Кишинева носят названия, восходящие к тюркским этимонам: *Буюкань*, *Чевкарь*. Вариант *кешенев*, по отношению к молдавскому *кешенеу/кишинэу* (позже>топоним *Кишинэу*>рус. *Кишинев*), также образовался в среде молдавских говоров. В XIII—XVI вв. в молдавских говорах в ряде слов в позиции между *e* и *y* развился шелевой губно-зубной *ө* [47. С. 47]. Этот процесс в настоящем не характерен для молдавского языка (т. е. термин *кешенев* в молдавских грамотах <молд. *кешенеу*).
- 47 Rosetti A. Limba română în secolele al XIII—lea—al XVI—lea. București, 1956.
- 48 Кантемир Дм. Описание Молдовей. Кишинэу, 1982.
- 49 Călinescu G. Istoria literaturii române de la origini pînă în prezent. București, 1985.

Акад. Лайош Лигети, всемирно известный востоковед, скончавшийся 24 мая 1987 г. в возрасте 84 лет, в качестве последнего желания завещал, чтобы его статья вышла на русском языке. Эту статью он написал в 1985 г., когда уже была подготовлена, но еще не вышла в свет его последняя крупная работа «Тюркские связи венгерского языка в период до обретения родины и эпоху Арпадов» (Будапешт, 1986); статья была напечатана в 1986 г. в журнале «Magyar Nyelv» (т. 82, с. 478—482). Акад. Л. Лигети первоначально к русскоязычному варианту хотел дать краткое введение и некоторые мелкие добавления, однако сделать это ему не удалось. Поэтому текст мы печатаем в неизменной, первоначальной форме.

Сокращения, употребляемые в статье: NyK=Nyelvtudományi Közlemények; Nyr=Nyelvor; BTlw=Z. Gombocz, Die bulgarisch-türkische Lehnwörter in der ungarischen Sprache, 1912; Németh Honfial=Németh Gy., A honfoglaló magyarság kialakulása, 1930.

А. Рона-Таш

ЛАЙОШ ЛИГЕТИ

М. А. ФЕДОТОВ. Б. МУНКАЧИ О ТЮРКСКИХ ЭЛЕМЕНТАХ В ВЕНГЕРСКОМ ЯЗЫКЕ//СОВ. ТЮРКОЛОГИЯ. 1985. № 1

Автор работы анализирует рукопись Б. Мункачи на русском языке, которую венгерский ученый с сопроводительным письмом от 15 мая 1897 г. отправил в Казань Н. И. Ашмарину, известному исследователю чувашского языка. Рукопись вместе с письмом хранится в архиве Чувашского научно-исследовательского института языка, литературы, истории и экономики. Мы тронуты тем, что наши чувашские друзья, советские исследователи чувашского языка, бережно хранят память о выдающемся венгерском ученом Б. Мункачи, что они по-прежнему внимательно следят за теми исследованиями, которые затрагивают вопросы истории чувашского и венгерского языков и которые вот уже более ста лет занимают наших лингвистов.

В широком по охвату проблем творческом наследии Мункачи значительное место занимает анализ венгерско-тюркских языковых связей. Мункачи познакомился с чувашским языком (а также с языком казанских татар) на родине чувашей. Результатом путешествия были две большие работы: Справочник по чувашскому языку и по языку казанских татар (NyK. XVI, 213—220) и Заметки по грамматике чувашского языка (NyK. XXI, 1—44). О тюркских заимствованиях в венгерском языке Мункачи пишет в многочисленных статьях, из которых мы отметим следующие «Тюркские заимствования» (Nyr. XI, 56—61); «Данные к тюркским элементам в венгерском языке» (Nyr. XIII, 258—268); «Новые данные к тюркским элементам в венгерском языке» (Nyr. XX, 467—474 и XXI, 115—129).

Анализируемая Федотовым рукопись предназначалась для личного ознакомления Ашмарину, от которого Мункачи надеялся получить новые данные, касающиеся чувашского языка. В кратком перечне заимствований Мункачи опирается на свои ранее опубликованные на венгерском языке статьи. Разумеется, рукопись Мункачи на русском языке имеет прежде всего историко-научную ценность, однако она вместе с тем по-

казывает, какова была роль Мункачи в исследовании древних тюркских заимствований чувашского типа в период до обретения венграми родины, каковы были те открытия, которые Гомбоц перенял, в сущности, без изменений и которые стали органической частью теперешних знаний, какие из объяснений Мункачи, большая часть которых была подвергнута критике Гомбоцем, не выдержали испытания временем и, наконец, какие считавшиеся в свое время слишком смелыми его объяснения стоит снова проанализировать в настоящее время.

С этой точки зрения Федотов проделал полезную работу, когда обратился к русскоязычной рукописи Мункачи. Федотов — известный исследователь чувашского языка. Среди его трудов особого внимания заслуживают такие книги, как «Чувашский язык и семья алтайских языков» (И. Чебоксары, 1962) и «Исторические связи чувашского языка с языками угро-финнов Поволжья и Перми» (И. Чебоксары, 1962), а также недавно появившаяся и вызвавшая дискуссии статья «Отношение чувашского и общетюркского языков к языкам хазар, дунайских и волжских болгар, а также финно-угров» (Советская тюркология. 1979. № 3. С. 25—37).

Местами Федотов снабжает текст Мункачи критическими замечаниями, которые мы не будем комментировать. Нам хотелось бы сделать несколько замечаний к работе Мункачи, останавливаясь не на том, что в ней устарело, а на том, что определило последующие открытия — среди них и открытия Золтана Гомбоца — и способствовало новым достижениям в науке.

Работа Мункачи, несмотря на нейтральное название («Турецкие элементы в венгерском языке»), исследует лишь те заимствованные тюркские слова, которые имеют чувашские особенности. Разумеется, в рукописи не перечисляются все заимствования такого рода. В целом в ней предлагается деление в соответствии с критериями чувашского языка, из которых перечисляются восемь:

1. Наличие ротирующих форм. Их открытие связано с именем И. Буденца, который, опираясь на эту фонетическую особенность, определил, что тюркские элементы венгерского языка заимствованы из той тюркской ветви, которую в настоящее время представляет лишь чувашский язык. Перечисленные Мункачи примеры (ökög, iker, bogjú gүйgü, ig) безукоризненны; всего их 16. Гомбоц находит ротацизм в 18 словах; мы сократили приведенные им примеры на 2 слова, исключив kapuagó kзк, возможно, имеющее другую этимологию и предложив пока рассматривать слово szégü отдельно из-за трудностей в определении его значения.

Заслуживает внимания тот факт, что Мункачи наряду с ротацизмом не упоминает такое явление, как ламбдаизм, следуя в этом за Буденцем. В перечень чувашских особенностей первым вслед за Рамstedтом такие примеры включает Гомбоц, но и он еще не дает венгерских примеров и лишь позднее в своих университетских лекциях приводит всего три слова (köľök, dél, döl). Мы недавно указали на то, что в чувашском языке ламбдаизм полностью не развился (в отличие от монгольского ламбдаизма) и в финно-угорских языках среди чувашских заимствований встречаются лишь редкие примеры этого явления.

2. В многосложных словах окончание g, k отпадает как в чувашском, так и в венгерском языках, например, komló, borsó, ünő, gүйgü и еще 21 слово. Прежде делались попытки объяснить развитие венгерского языка исходя из чувашского. В сущности, такой взгляд разделял и Гомбоц, объяснявший отпадение или сохранение k, g на конце слов хронологической разницей. Некоторые примеры, такие, как segeg,

tuzok или cserű, из-за появления фонетических критериев, указывающих на другую хронологическую давность, противостоят этому объяснению. Барци вышел из этого затруднения, предположив, что древневенгерский язык на ранней стадии не знал ни *k*, ни *g* на конце слов; они остались в языке только за счет того, что к ним присоединялось краткое конечное *u* (*ü*) или *i* (*i*); если же этого не происходило, то конечный галатовелярный согласный превращался в щелевой и через дифтонг переходил в конечный (долгий) вокальный.

Мы уже давно придерживаемся того мнения, что в данном случае как в чувашском, так и в венгерском языках следует считаться с независимыми друг от друга конвергентными процессами развития. В качестве объяснения «отклонения» нами принято мнение Барци. Однако, несмотря на его кажущееся безупречным объяснение, мы не находим примеров этого фонетического явления среди старых (например, славянских) заимствований в период после обретения венграми родины.

Ответ, однако, прост, и можно только удивляться, что он до сих пор не был найден: тюркские заимствования до обретения венграми родины попали в наш язык не в старовенгерскую, а в предшествующую ей позднюю древневенгерскую эпоху. Эти два периода в истории развития языка наряду со сходными или одинаковыми чертами имеют и значительные историко-фонетические и другие различия. Самая древняя память о тюркских заимствованиях позднего древневенгерского периода сохранилась только в памятниках языка старовенгерского периода, история же предшествующих трех-четыре веков от нас скрыта. Механическое осмысление явлений по старовенгерским нормам стало источником многочисленных искажений, ошибочных толкований. Если мы примем во внимание особенности исторической фонетики позднего древневенгерского периода, то объяснение Барци не потребует больше ни дополнительных доводов, ни новых доказательств.

3. Начальное венгерское *sz* ~ чувашское *š* ~ др.-тюркское *ʃ*. Эту закономерность согласно мнению Мункачи отражают слова *szél*, *szücs*, *szőlő*, а также *szemölcs*, *gyümölcs* и *szerű*, *szűrű*, наконец, двойная форма *gyűrű*. Гомбоц принял объяснение слов *szél*, *szücs*, *szőlő* и даже *szerű* и *szemölcs*, лишь позднее исключив слово *szemölcs*, которое он считал производным от слова *szem* ('глаз').

Рамстедт категорически отверг теперь уже представляемое Гомбоцем мнение о соответствии венгерского *sz* чувашскому *s*, т. к. полагал, что заимствованные слова чувашского типа попали в венгерский язык до образования общетюркских языков, что хронологически совершенно невозможно.

Независимо от мнения Рамстедта мнение Гомбоца, согласно которому начальное *sz* в словах *szél*, *szücs*, *szőlő* восходит к древнечувашскому *š*, ничем не подкреплено. Ведь по сравнению с общетюркским *y* в древнечувашском мы находим *j*, и даже при диалектных различиях невозможно представить себе, чтобы в новочувашском этому звуку соответствовало бы *š*.

После противоречивого объяснения Гомбоца нам удалось установить, что начальное *j* в древнечувашском появилось как глухое (*č*) в среднечувашском. Выяснилось, что среди заимствований этот уровень среднечувашского представляют слова *sarló/čarlag*, др.-чуваш. *jarlag*, др.-тюрк. *yarlag*, чуваш. *šurla* < *šur-/süveg* (пратюрк. *yeläk*).

В ходе наших исследований было установлено также, что нельзя говорить вообще о чувашских заимствованиях, начинающихся на *sz* (в др.-тюрк. на *y*); этот начальный звук появляется в нашем языке лишь перед палатальным *i*: *szél* < *sil*; *szücs* < *siŋci*, *szőlő* < *šiyläk*. Пала-

тальное *i* ускорило дизаффрикацию *č*, а затем его палатализацию. Этим объясняется проникновение, в сущности, новочувашской звуковой формы в среднечувашский диалект.

В своих объяснениях Мункачи исходил из современного чувашского языка; естественно, он отметил слова с начальным *sz*. Однако он не говорил о том, что большая часть наших слов, относящихся к этой категории, начинается с *gy*. Правда, в то время еще не выяснилось окончательно, что истоком этого начального звука является *ĩ*. В древнечувашском таким истоком считалось *y*; этот взгляд разделял и Мункачи. По мнению Федотова, аналогичное объяснение Ашмарина опирается на объяснение Мункачи.

Отметим здесь также (хотя Мункачи и не пишет об этом), что, по мнению Гомбоца, среди заимствований чувашского типа с древнетюркским *y* есть и третий тип с начальным гласным. Сюда относятся всего два примера: глагол *íg* и образованное от него существительное *ígó* 'babeurre'. Сейчас мы уже можем установить, что причисление этих двух слов к древнетюркским словам ошибочно. На самом деле они относятся к тем немногочисленным примерам, в которых начальное древнетюркское *ya-* при определенных условиях было представлено велярным *ĩ* среднечувашского диалекта-посредника (по всей вероятности, именно из этого диалекта происходят и заимствования с начальным **szi*). Из этого же среднечувашского диалекта происходит и черемис. *jəga* 'ígó'; в современном чувашском эта форма, естественно, отсутствует. Однако продолжением жизни другого диалекта является совр. чуваш. *šíg*—'*ig*'; от него же берет начало черемис. *šegaš*. Гомбоц ясно видел роль начального древнечувашского *j* в наших словах-заимствованиях, но в то же время он, не колеблясь, принял периферическое соответствие начального *sz*, не считаясь со сходными фонетическими явлениями. Мункачи же, напротив, отверг все другие объяснения такого характера.

На основании чувашского начального *s* Мункачи отнес к одной и той же категории слова *süveg* (чуваш. *šeléč*) и *sajt* (чуваш. *čakät*, общетюрк. *yoğurt*), не обратив внимания на «нарушающий правило» венгерский начальный звук. Гомбоц же включил оба слова в список BTLw, но слово *süveg* из-за фонетических трудностей принял лишь с оговорками, а слово *sajt* отделил от слова *yoğurt* и связал его с формами кыпчакских языков.

4. В первом слоге венгерское *i* ~ чувашское *i* ~ общетюркское *a*, *o*, *u*. По мнению Мункачи, это соответствие отражают слова *tinó*, *disznó*, *csikó*, *tiló*, *íg* и еще восемь не имеющих чувашских соответствий примеров. В сущности, верный чувашский критерий должен, однако, иметь более точную форму: венг. *i* ~ чуваш. *ĩ* ~ общетюрк. *a*.

Из приведенных примеров следует исключить *csikó* (это слово возникло как звательное). Чувашское *sīsna* несопоставимо с общетюркским *toñuz*; сомнительно, чтобы гласному первого слога в чувашском и венгерском соответствовало *ya* в общетюркском. Безупречны *tinó* и *tiló*, а также *íg*, но в последнем случае общетюркское соответствие не *a*, а *ya*. И, конечно, сюда не относится слово *sziróny*.

5. В соответствиях венг. *kék* ~ чуваш. *kăvak* ~ общетюрк. *kök* суть заключается не в связи венгерских и тюркских слов, поэтому TESz обоснованно не принял во внимание приоритет этой связи, на который указали Фишер и Гомбоц. Суть здесь в долготе гласного в первом слоге и в появлении этой долготы в венгерском и чувашском (в последнем из дифтонга — два слога) языках. Это оценил и Гомбоц, когда указал, что источником венг. *kék* является др.-чуваш. *kök* (BTLw 91, 159).

На основании чувашского Мункачи отнес долготу гласного в первом слоге к тому времени, когда история тюркских долгих гласных была еще неизвестна и ученые пытались объяснить якутские рефлексы разными способами.

Укорачивание тюркских долгих гласных началось рано, и в большинстве современных тюркских языков долгие гласные бесследно исчезли; в некоторых языках они встречаются спорадически. Современный чувашский язык сохранил лишь остатки былой долготы, те формы, которые еще были, когда началась дифтонгизация. В заимствованиях чувашского типа еще могли быть редко представленные долгие гласные (иногда, быть может, в дифтонговой форме). Однако их история не может быть прослежена ввиду венгерского вторичного растягивания гласных.

6. В односложных словах на конце венг. *m* ~ чуваш. *m* ~ общетюрк. *ŋ* и *p*. Примеры Мункачи: *gyom* (чуваш. *šom*, алт. *yong*); *szám* (чуваш. *sum*, общетюрк. *san*). Последнее соответствие есть уже у Вамбери (NyK. VIII, 173), его принимает как заимствование и Буденц (NyK. X, 88). Оба соответствия были приняты и Гомбоцем (BTLw. 84), однако он необоснованно отбросил относимое сюда же Мункачи слово *gém* (цит. раб. 216).

Верность этимологических объяснений, связанных с именем Гомбоца, до настоящего времени не подвержена сомнению, несмотря на ведущиеся вокруг них историко-фонетические споры (Räsänen, Doerfer, Novdhaugen). Однако до сих пор не ставился вопрос о времени заимствования слов *gyom* и *szám*. Действительно ли они принадлежат к самым древним элементам древнечувашского типа в венгерском языке?

7. Мункачи не оставил без внимания и то обстоятельство, что среди чувашских слов с начальным протетическим *-v* имеются такие, которые сопоставимы с венгерскими. В русской рукописи фигурирует лишь один пример: венг. *vályú* ~ чуваш. *valak* ~ общетюрк. *olug*. Позднее Мункачи присоединил сюда еще слова *vers*, *vék* и *vejsze*. Ссылаясь на фонетические трудности, Гомбоц отверг все эти примеры (цит. раб. 223—224). Немет (Honfial, 126) считает *vályú* поздним болгаро-тюркским заимствованием. TESz занимает по сравнению с ними сдержанную позицию (*vék* — пара к *lék* — в словаре отсутствует). Эту сдержанность, ставшую традиционной, начиная с Гомбоца соблюдать довольно трудно. Начальное *s* в словах *szél*, *szőlő*, *szücs* (чуваш. *ś < j*, общетюрк. *ʏ*) действительно поразительно; в памятниках чувашского языка нет следа этого позднего развития (в надписях на волжских надгробных памятниках мы находим *j*). Непосредственное развитие чувашского начального *у* в *s* Буденц предположил без всяких колебаний, и вслед за ним все исследователи приняли без критики это далеко не само собой разумеющееся развитие. Во времена Буденца еще не было и речи о протетическом *v* (оно есть в языке надписей на волжских надгробиях) в возможных (поздних) заимствованиях чувашского типа: здесь была открыта дорога сомнениям.

8. И, наконец, Мункачи считал критерием чувашского типа то обстоятельство, что часть наших заимствованных слов можно найти только в чувашском языке. К ним он отнес слова *köris*, *kicsiny*, *ör* (*öröl*), *serte*, *tükör*, *csekély*, *katáng*, *bársony*, *mogyoró*, *társ*. Введение этой категории следует считать верным, перечень же слов нуждается в некотором уточнении. С тех пор обнаружилось общетюркское соответствие к чувашской форме *barcin*, венг. *bársony*. Особенности значения заставляют отнести к чувашскому слова *ör* (*öröl*) и *tükör*, а фонетические и морфологические черты — слова *kicsiny* и *sertés*. Слово

csekély—производное от csőzik (:>csőkken, csökönyös); ввиду значительной семьи слов оно относится к элементам чувашского типа без особых фонетических примет эпохи до обретения венграми родины; такого типа печенежско-куманских слов-заимствований мы не знаем. Близость слова köris к чувашскому бесспорна, несмотря на то, что оно представлено и в других соседних языках. Очевидно, к этой категории следует причислить и слово katang, которое можно найти только в кыпчакском.

Число примеров может быть умножено, но из них нужно исключить слова тогуо́г и társ, которые имеют нетюркское происхождение.

К вопросу о чувашских критериях тюркских заимствований периода до обретения венграми родины нам еще хотелось бы вернуться в процессе дальнейшей работы.

КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ

РЕЦЕНЗИИ

Ф. Ю. ЮСУПОВ. ИЗУЧЕНИЕ ТАТАРСКОГО ГЛАГОЛА
ПОД РЕД. Э. Р. ТЕНИШЕВА

КАЗАНЬ: ТАТ. КН. ИЗД-ВО, 1986. 287 с.

Автор книги, пользуясь методикой, разработанной в русской и славянской диалектологии, впервые в изучении тюркских диалектов, а конкретнее — татарского глагола, использует метод моделирования диалектной системы, конструирование которой является исходной точкой синхронного описания диалектного языка. При моделировании диасистемы автором выделяется ее ядерная часть, состоящая из элементов, представленных во всех диалектах, а также периферия, образуемая совокупностью частных элементов. Подобное единство общих и частных элементов составляет сложную систему татарского диалектного языка.

Автор использовал материалы, собранные им во время ежегодных экспедиций, на основе специально составленной программы, ориентированной на синхронное описание отдельного уровня диалектного языка как целостной системы. Кроме того, привлечены также материалы Диалектологического атласа татарского языка, Диалектологического атласа тюркских языков Сибири, одним из составителей которых является Ф. Ю. Юсупов, а также все имеющиеся основные исследования, посвященные описанию говоров и диалектов татарского языка.

В монографии системно-синхронному анализу подвергаются личные формы глагола диалектов татарского языка: изъявительное, повелительное, желательное, условное, сослагательное наклонения и наклонение намерения.

Временные формы изъявительного наклонения рассмотрены в работе в связи с развитием парадигматических и синтагматических значений исходных основ. По утверждению автора, в диалектах татарского языка на основе деепричастия на *-а, -ә, -й* образовались формы настоящего времени на *-а, -аты*, при помощи деепричастия на *-ып* — *-ыпты*; форма причастия на *-ган* дала индикативные формы на *-ган, -ганда*; на ос-

нове причастия на *-асы, -ачак, -ыр, -галак, -мак* и т. д. возникли особые формы, выражающие значение будущего времени. Кроме того, эти основы, осложняясь в дальнейшем вспомогательным глаголом *иде*, в говорах татарского языка дали целый ряд аналитических форм прошедшего времени, прочно вошедших в сферу глагольного спряжения. Однако некоторые из индикативных форм находятся на переходном, промежуточном этапе развития; процесс преобразования их в индикативные еще не завершился. Об этом свидетельствуют формы на *-учы, -учан, -улы, -уда* в значении различных времен. Выступая в диалектах в качестве самостоятельных форм изъявительного наклонения, они тем не менее обладают особенностью глагольного спряжения.

Обращает на себя внимание то обстоятельство, что многие формы индикатива татарских диалектов могут употребляться в значении других временных форм. Например, в благоприятных контекстуальных условиях формы настоящего времени на *-а, -аты* могут быть использованы в повествовании о прошлом или при обозначении действий, относящихся к будущему. Таким образом, они выступают в качестве универсальных форм для выражения значений всех времен индикатива.

Приведенный в монографии фактический материал показывает, что формы изъявительного наклонения наряду с основным индикативным значением выражают различные оттенки желания, побуждения, долженствования, необходимости, условия, причины и следствия. В свою очередь, формы повелительного, желательного и других наклонений в благоприятствующих речевых условиях, а также с помощью различных лексических индикаторов выражают многообразные значения, характерные для форм как изъявительного, так и косвенных наклонений. Подобную взаимосвязь автор

объясняет различными случаями транспозиции грамматических форм, возникших как результат контрастирования с темпоральностью контекста, а также тем, что древние тюркские исходные основы употреблялись в роли всех неличных и личных глаголов.

Диасистема настоящего времени в диалектах татарского языка реализуется формами на *-а* (*-дыр, -ты, -т, -'а*), *-учан, -учы, -уда, -атыган*, а также рядом аналитических конструкций: *-ып утыр, -ып йата, -а торган*. Наличие или отсутствие указанных форм является дифференциальным признаком диалектов татарского языка. Семантическим ядром форм настоящего времени является обозначение действия, контактирующего с моментом речи. Однако, как это убедительно показано на богатом фактическом материале, данные формы или каждая форма в отдельности, кроме употребления в указанных значениях, могут выступать в контекстах, предполагающих отнесенность действия к ретроспективной или перспективной плоскости. Многочисленные формы настоящего, будущего, прошедшего времен изъявительного, а также косвенных наклонений анализируются как в семантическом, так и в ареальном плане. Различные типы изоглоссных явлений в работе рассмотрены на уровне отдельных глагольных категорий в системных противопоставлениях. Особое внимание автор уделяет составлению пучков однотипных изоглосс на определенной языковой территории.

Кроме известных тюркских форм, приведены образования, возникшие на татарской основе. К таким уникальным явлениям относятся формы изъявительного наклонения *-ганда, -ганда иде*, которые представляют несомненный интерес не только для тюркологической, но и в целом языковедческой науки. Прошедшее на *-ганда* отличается многозначностью, однако основным в семантике этой формы является выражение результативности, завершенности свершившегося в прошлом действия: *Мин дурт кылас белэн генэ барганда эрмегэ* 'В армию я пошел с четырехклассным образованием'; *Без балалар укытканда инде, кишер чыкканда* 'Мы уже посадили лук, а морковь уже проросла'; *Син инде ийрэнгэндэ, иртэ тырасын* 'Ты, оказывается, уже привык, встаешь рано'; *Сез анда туганда, ускэндэ, шуна сез йаратасыз* 'Вы там родились, выросли, поэтому там вам нравится'. Интересна и достаточно убедительна предложенная Ф. Ю. Юсуповым гипотеза о происхождении данной формы: форма на *-ганда* аналогична по структуре формам изъявительного наклонения на *-макда, -уда*, образовавшимся на основе нейтральных к выражению времени имен действия на *-мак, -у* с помощью аффикса местного падежа, переносящего заключенное в них действие в план настоящего времени. По утверждению автора, в прошедшем времени на *-ган-*

да, в отличие от форм на *-макда, -уда*, в соответствии и со значением исходной основы на *ган* и аффикса местного падежа *-га* подчеркивается результативность совершенного действия.

В говорах татарского языка повелительное наклонение является одной из грамматически оформившихся категорий, обладающих специальными морфологическими средствами для выражения императивного значения.

Как показывают материалы, представленные в монографии, общее императивное значение исследуемого наклонения, в зависимости от контекста, подвергается разнообразной модификации. Как и в других тюркских языках, формы этого наклонения часто выражают и другие модальные значения, стоящие на грани повелительного и других наклонений. В зависимости от характера речевой ситуации, своеобразной интонации, семантики глагола общее значение императива приобретает различные оттенки: простое побуждение, требование, строгое приказание, наставление, наказ, призыв, просьба, мольба, рекомендация, пожелание, разрешение, предупреждение, увещание, предостережение и т. д. Формы повелительного наклонения в говорах татарского языка тесно взаимодействуют с многочисленными модальными глаголами и частицами, а также личными местоимениями.

В говорах татарского языка морфологические средства категории повелительного наклонения весьма ограничены. Они находят различное территориальное распределение, образуя своеобразные изоглоссы. Автором выделены следующие формы повелительного наклонения:

1. Формы 2, 3-го лица (*бар, барыгыз; барсын, барсыннар*), общие с литературным языком, в той или иной степени употребительны во всех диалектах татарского языка.

2. Форма повелительного наклонения на *-ын* локализуется в основном в говорах, распространенных на территории Западной Сибири и Урала, хотя в той или иной степени представлена и в других диалектах татарского языка. Употребление ее в маргинальных говорах, распространенных на территории Приуралья, Среднего Урала, Зауралья объясняется влиянием соседних говоров тоболо-иртышского диалекта.

3. Форма на *-гын* известна во всех диалектах. Однако распространение ее в среднем диалекте ограничивается касимовским говором и отдельными населенными пунктами Заказанья и Нижнего Прикамья. В говорах мишарского диалекта изоглосса этой формы охватывает в основном территории Пензенской, частично Горьковской областей и Мордовской АССР.

4. Более активна форма на *-гын* в тоболо-иртышском, частично в томском диалекте.

В монографии подробно анализируются формы желательного наклонения.

Основным показателем желательного наклонения в диалектах татарского языка являются фонетически видоизмененные варианты древней формы на *-гай*, выступающие в 1 лице единственного и множественного числа: *-ый-м, -ый-ым, -ый-ык, -ыйк; -ай-ым, -ай-ын, -ай-ык*. Данные варианты представлены во всех частных диалектных системах. Автором форма желательного наклонения на *-ай, -ый* отнесена к ядерным элементам диасистемы. Однако, как показывают материалы, представленные в работе, распределение указанных фонетических и фонетико-морфологических вариантов по диалектам неодинаково. В зависимости от этого дистрибутивные классы 1 лица желательного наклонения могут служить классификационными признаками частных диалектных систем.

Древняя форма желательного наклонения на *-гай* сохранилась лишь в мишарском диалекте в составе конструкции *-гай иде*. В этом же диалекте активен стяженный вариант данной конструкции *-гайды, -гай иде*. Кроме того, в среднем и мишарском диалектах употребляется отрицательная форма *-магай(ы)*. Форма на *-гай иде, -гайды* является одним из классификационных признаков мишарского диалекта, по которому он противопоставляется остальным диалектам татарского языка.

Наклонение намерения в диалектах татарского языка выражается специальными грамматическими средствами, что позволило автору выделить его как самостоятельное наклонение. Для выражения намерения, решимости совершить действие в диалектах употребляются формы на *-макчы, -мак, -галты*, а также аналитические конструкции *-ырга итэ, -ырга ат'а, -ырга кели, -ырга тели, -мага итэ, -мага тели, -ма кели, -мак бул, -мак ите, -галы итэ, -галы отур (утыр)*.

В монографии детально рассмотрены также особенности употребления форм условного, сослагательного наклонений.

Каждый раздел завершается краткими выводами, где даны итоговые характеристики исследуемых наклонений, устанавливаются ядерные и периферийные элементы, определяются классификационные характеристики частных систем.

Раздел «Заключение» содержит основные выводы исследования личных форм диалектов татарского языка. Системно-синхронное и ареальное изучение индикативных форм, а также косвенных наклонений татарских диалектов позволило автору установить, что элементы диасистемы этих категорий по диалектам имеют неодинаковое употребление и территориальное распределение. Одни из этих форм представлены во всех диалектах и обладают большими возможностями семантического потенциала. Некоторые формы наклонений употребляются лишь в отдельных говорах или диалектах. На основе данных характеристик автор устанавли-

вает ядерные и периферийные элементы диасистемы татарских диалектов на уровне личных форм глагола. Кроме того, в работе впервые в татарском языкознании определено место каждого диалекта в системе тюркских языков. Например, кроме ядерных элементов, сближающих средний диалект с языками кыпчакской группы, в нем присутствует глубокий пласт огузизмов, которые выступают в качестве одного из его классификационных признаков. Результаты исследования Ф. Ю. Юсупова показали, что общее количество таких элементов в среднем диалекте больше, чем в других диалектах татарского языка. Представляет интерес утверждение автора о том, что вышеуказанные элементы в той или иной степени представлены и в некоторых кыпчакских языках, однако в среднем диалекте семантика и функции этих форм намного шире. В этом плане весьма примечательным является и то, что формы, общие с огузскими языками, в среднем диалекте имеют ярко выраженный локальный характер и распространены главным образом на территории Среднего Поволжья, Нижнего Поволжья (Татарская АССР, смежные районы Чувашской, Марийской, Удмуртской АССР, Кировской области). Обращает на себя внимание также тот факт, что многие из этих форм функционируют и в соседнем чувашском языке. Таким образом, на данной территории обнаруживается целый ряд пучков изоглоссных явлений. По мнению автора, данные формы унаследованы от булгарского языка, которому был свойствен ряд огузских черт.

Как показывают языковые материалы, представленные в монографии, мишарский диалект отличается от среднего диалекта отсутствием так называемых «огузизмов». В основе своей он является кыпчакским и обнаруживает большую близость с кумыкским, караимским, карачаево-балкарским, крымско-татарским языками. В монографии особо подчеркивается близость этого диалекта к языку письменного памятника Codex Cumanicus и армяно-половецких документов XVI—XVII вв.

Для диалектов сибирских татар характерна исключительная смешанность структурных элементов категорий личных форм глагола, что объясняется, по всей вероятности, сложной историей формирования самих диалектов. Диалекты сибирских татар, утверждает исследователь, характеризуются ярко выраженными кыпчакскими чертами. Результаты системно-синхронного и сопоставительного исследования, проведенного Ф. Ю. Юсуповым, показывают, что эти диалекты особую близость обнаруживают с остальными диалектами татарского языка, а также с другими кыпчакскими языками. Кроме того, диалекты языка сибирских татар обладают рядом особенностей, сближающих его с алтайским, хакасским, тувинским, шорским, тофаларским языками. Важным, на наш взгляд,

является также заключительный вывод автора о том, что большое разнообразие представленных форм, их многовариантность говорят об участии различных компонентов в процессе образования исследуемых диалектов и этнических групп, а также об их тесном взаимодействии с другими тюркскими языками в процессе дальнейшего развития.

Ареальное исследование татарского глагола способствовало выявлению общих закономерностей пространственного распределения языковых явлений, в том числе уточнению типологии ареалов. Исследование отдельных уровней диалектного языка в ареальном и системно-синхронном аспектах

открывает и в общетюркологическом масштабе новые перспективы, что способствует изучению по единой программе ряда языковых явлений с целью выявления общих ареалов распространения и установления тенденций их дальнейшего пространственного развертывания в разных близкородственных языках. Монография Ф. Ю. Юсупова «Изучение татарского глагола» открывает новое перспективное направление в исследовании диалектов тюркских и других народов и тем самым является вкладом в советскую тюркологию.

А. Мамедов, А. А. Чеченов,

Е. З. Кажибеков

Т. Д. МЕЛИКОВ. НАЗЫМ ХИКМЕТ И НОВАЯ ПОЭЗИЯ ТУРЦИИ

М.: НАУКА, 1987. 139 с.

Коренные изменения в турецкой поэтической культуре XX в. тесно связаны с именем Назыма Хикмета. Творчество известного турецкого поэта, открывая новый этап (новое течение) в развитии турецкой поэзии, формирует ее новаторское направление и развитие. И в настоящее время наиболее значительные достижения турецкой поэзии связаны с этим течением.

Конечно, ни собственно творчество Н. Хикмета, ни «новое поэтическое течение» не составляют сами по себе научной тематики рецензируемой нами монографии. На наш взгляд, Т. Меликов поставил перед собой задачу рассмотреть более обширные и потому более сложные проблемы — идейно-эстетические связи творчества Н. Хикмета с новой турецкой поэзией и роль поэта в ее зарождении и формировании.

По мнению Т. Меликова, Н. Хикмет «способствовал идеологической переориентации национальной культуры, создал новую поэтику, одухотворенную новой идеологией. Без анализа художественного наследия Назыма Хикмета невозможно осмыслить закономерности эволюции новой литературы в Турции, проследить динамику развития реализма, начинателем которого в поэзии был Назым Хикмет и который утвердился затем в поэтической практике турецких поэтов 40—80-х годов».

Не осталась за пределами монографии и начавшаяся во второй половине XIX в. «модернизация» социально-экономической

и политической жизни, которая охватила также культуру, а, следовательно, и ее составную часть — поэзию. На передний план в соответствии с духом времени и идейно-эстетическими принципами выдвинулась просветительская по своей сути литература классицизма. Дело, начатое поэтами классицизма, продолжили поэты, сгруппировавшиеся вокруг журнала «Сервети-фюнун». Привести турецкую поэзию в соответствие с создавшейся в 20-х годах в Турции исторической ситуацией, т. е. еще более приблизить ее к реальной жизни, — такая непростая и ответственная задача выпала на долю Назыма Хикмета.

Именно в этом плане, т. е. в сравнении с достижениями национальной и передовой мировой литературы показать творчество Н. Хикмета как поэта, поднявшего турецкую поэзию до революционно-новаторского уровня, и решается основная часть монографии под названием «Назым Хикмет — основоположник новой реалистической поэзии». Рассмотрев обширный материал историко-литературного, информационного и художественного характера, а также факты, связанные с жизнью и творчеством поэта, автор не идет по описательно-эмпирическому пути. Он стремится, прежде всего, раскрыть внутренний мир, идейно-тематическое своеобразие поэзии Н. Хикмета, показать основные вехи его жизни и творчества, обусловившие подлинно революционный переворот в идейно-эстетической системе турецкой поэзии. Наблюдая турец-

кую действительность, жизнь крестьянина из Анатолии, глубоко переживая страдания турецких рабочих, Н. Хикмет не мог не переменить в своем мировоззрении, настроениях, во взглядах на жизнь, и это отразилось в содержании, поэтических идеях, формах, жанрах и системе образов его поэзии. Именно поэтому в стихах, написанных Н. Хикметом в Анатолии, уже ощущается отказ от традиционных штампов и изысканных поэтических образов и знаков, которые характерны для его произведений, написанных несколько ранее в Стамбуле. Поэт понимает: то, что он увидел в Анатолии и что оказалось на него определенное воздействие, необходимо выразить иными, чем прежде, средствами. Однако он еще не знал, какие это средства. Ему как поэту необходимо было внутреннее потрясение. И такое «потрясение» Н. Хикмет ощутил, приехав в Советский Союз: именно здесь он заразился идеями и чувствами революции. Находясь в Москве, Н. Хикмет ощутил насущную потребность в новой — с точки зрения как содержания, так и формы — поэзии. Процесс зарождения новых идей у Н. Хикмета и осознания им новых поэтических форм показан в монографии достаточно глубоко и в плане научной состоятельности убедительно. Анализ стихотворений 1922—1925 гг. («Новое искусство», «Поэт», «Художникам 2000 года») позволяет понять принципы, проводимые Н. Хикметом в его произведениях.

Повышенный интерес Т. Меликова к творчеству поэта 20—30-х годов вполне оправдан. Именно в этот период сформировались и укрепились революционная позиция поэта, его отношение к предмету и задачам поэзии и, наконец, основные принципы и особенности его поэтики. Анализ и оценка найденного в 20—30-х годах Н. Хикметом пути в поэзии, используемых им идейно-поэтических принципов не только в пределах и на основе литературной практики поэта, но и в контексте всей последующей турецкой поэзии, является, на наш взгляд, серьезной научной задачей, решение которой мы отмечаем как несомненную заслугу автора монографии. В стихотворениях этого периода Н. Хикмет выступает выразителем интересов своего класса, и потому особое внимание обращается им на правдивое изображение пафоса классовой борьбы. Лирический герой его произведений выступает перед нами в форме коллективного «мы», а не индивидуального «я». Однако очень скоро поэт понимает, что настоящая социалистическая поэзия не может не отображать личность ее творца. Именно благодаря этому — новому для себя представлению о поэзии он расширяет границы своих стихотворений, активно обогащая их лирическими мотивами.

Нало сказать, что Т. Меликов в основном сумел показать сложный, противоречивый путь поэта к наполненной пережи-

ваниями и мыслями поэзии. Одним из ценных качеств монографии является то, что в ней рассматриваются в равной мере как идейно-содержательные стороны поэзии Н. Хикмета, так и ее поэтика, стихотворная система и структура. В главе, посвященной творчеству поэта 20—30-х годов, автор обращается к вопросам развития в Турции «новой поэзии». В турецкой критике это поэтическое явление обозначалось терминами «свободный размер», «свободный ритмический стих», «свободное изложение», «свободный призыв», «свободный стих». В последние годы термин «свободный призыв», приобретая чисто турецкую форму, звучит как «свободный гошуг». Раскрытие генезиса свободного стиха в турецкой поэзии через показ стремления «сервети-фюнунистов» изменить под влиянием поэзии Запада традиционные границы поэтики аруза, т. е. создать «свободный мустазад», помогает, на наш взгляд, научному решению данного вопроса. Однако свободный мустазад, по мнению Т. Меликова, — это еще не «свободный гошуг». Роль Н. Хикмета как раз и состоит в том, что он раскрыл, беря за основу классический и народный стих, неизвестные до того возможности национальной поэзии, чем внес неоценимый вклад в турецкую поэзию.

Воздействию Н. Хикмета на турецкую поэзию конца 30—40-х годов, формированию его новых идейно-эстетических принципов посвящена следующая глава монографии. Здесь Т. Меликов успешно справился со сложной задачей определения закономерностей развития новой турецкой поэзии и рассмотрения диалектики развития реализма. Последователи поэзии Н. Хикмета в Турции появились еще в 30-х годах. Это поэты Орхан Вели, Октай Рифат и Мелих Джевет Андай, чьи стихотворения были опубликованы в сборнике «Чужой». Именно на творчестве этих поэтов, и особенно на поэзии Орхана Вели, и попытался Т. Меликов показать развитие основных идей поэтического реализма Н. Хикмета. Надо сказать, это ему удалось. Действительно, самой выдающейся личностью современной турецкой поэзии после Н. Хикмета был Орхан Вели. Ему принадлежит особая роль в зарождении «новой поэзии» в Турции. Положительным для монографии является то, что автор ее не ищет новаторство В. Орхана в отдельных поэтических картинах, образах или темах. Новаторство выявляется, прежде всего, в творческих взглядах и концепциях поэта, в содержании и характере образного восприятия им мира и реальности.

В последней главе монографии в свете традиций поэзии Н. Хикмета рассматриваются новые направления и явления поэтического процесса 60—80-х годов. Радикальные общественно-политические изменения, усиление антиимпериалистического движе-

ния и активизация социалистической идеологии способствовали появлению нового поколения поэтов. В этих условиях традиции и творческие принципы Н. Хикмета сыграли важную роль в решении задач, вставших перед современной турецкой поэзией. Появившееся в 60-х годах новое поэтическое течение «*девречми шеир*» («революционная поэзия») стало продолжением «новой поэзии», созданной и обоснованной Н. Хикметом и развитой Орханом Вели и его поколением.

Монография Т. Меликова «Назым Хикмет и новая поэзия Турции» — интересное и довольно содержательное исследование с точки зрения не только поставленных в нем проблем, но и проведенных анализов. Вместе с тем, на наш взгляд, в этом ценном труде по сравнению с обширным показом новаторства поэзии Н. Хикмета менее освещена связь его творчества с национальной литературой. Назым Хикмет был поэтом-новатором. Это бесспорно. Но в то же время он был глубоко связан с традициями национальной поэзии. Есть в монографии и другие упущения. Например, описывая пребывание Н. Хикмета в СССР, Т. Меликов поче-

му-то ничего не говорит о посещении им Баку и о его творческих связях с литературной средой этого города. А ведь эта сторона творческой биографии поэта очень важна для исследования его поэзии. Произведения Н. Хикмета в годы его пребывания в Москве чаще всего печатались в Баку, где он был самым известным и любимым поэтом. О Хикмете в Азербайджане говорили, как о представителе пролетарской поэзии. Первый поэтический сборник поэта — его знаменитая книга «Песня пьющих солнце» был опубликован в Баку в 1928 г.

Наши замечания ничуть не принижают значение и высокий научный уровень монографии. Н. Хикмет является одним из тех поэтов, чья жизнь и творчество всесторонне изучаются как у нас в стране, так и за рубежом. Книга Т. Меликова, несомненно, заслуживает высокой оценки как исследование, расширяющее наше представление о творчестве поэта и воздействии его поэтического наследия на современную турецкую литературу, в частности, на поэзию.

Ш. Салманов

А. М. МЕМЕТОВ. ИСТОЧНИКИ ФОРМИРОВАНИЯ ЛЕКСИКИ КРЫМСКО-ТАТАРСКОГО ЯЗЫКА

ТАШКЕНТ: ФАН, 1988. 110 с.

Рецензируемая монография — труд, посвященный выявлению источников формирования лексики крымско-татарского языка и определению круга близкородственных тюркских языков.

В предисловии автор определяет цель и методику исследования, ставит задачу выявить общетюркский, огузский, кыпчакский и кыпчакско-огузские пласты в лексике крымско-татарского языка путем анализа наиболее устойчивых слов, сохранившихся в большинстве тюркских языков на протяжении веков почти без изменений.

В первой главе анализируется тюркский пласт (более 58%) крымско-татарского языка, распадающийся при дальнейшей классификации на: 1) общетюркскую группу, включающую как пратюркскую лексику, так и слова, ставшие общетюркскими благодаря языковым контактам; 2) общекипчакский слой, частично распространенный и среди некипчакских тюркских языков, имевших связи с кыпчакскими языками; 3) ареальную для западно-

кыпчакских языков лексику; 4) лексику, характерную лишь для крымско-татарского языка и т. п. Несомненный интерес представляет также предложенная А. Меметовым тематическая стратификация тюркского слоя лексики крымско-татарского языка: природные явления, растения, домашние и дикие животные, анатомические названия, термины родства и др. При анализе слов, входящих в ту или иную тематическую группу, автор приводит материалы из исторических памятников и современных тюркских языков. Так, в тематическую группу «явления природы» включены *ягъмур, сагъанакъ, къар, бурчакъ, къырав, чыкъ, яшын, йылдырым, ель* и др. (всего 34 названия). Лексемы *къар, ель, сув, буз* являются общетюркскими, и они, как правило, восходят к пратюркскому языку. Отмеченные слова встречаются во всех современных тюркских языках с некоторыми специфическими фонетическими отклонениями.

Автор монографии справедливо, на наш взгляд, пишет, что некоторые слова рассматриваемой тематической группы свойственны только кыпчакским языкам, например, *толкъун*, *яшын*, или характерны только для огузских языков, например, *далгъа*, *йылдырым*. В литературном крымско-татарском языке, сформировавшемся на базе кыпчакизированного и огузизированного диалектов, употребляются синонимичные пары *далгъа толкъун* 'волна', *яшын йылдырым* 'молния'.

Особое внимание в этой главе уделено диалектным различиям в обозначении предметов, реалий и понятий, что очень важно для выявления основы литературного языка и определения роли диалектов в его формировании.

Вторая глава посвящена анализу иноязычных элементов в крымско-татарском языке. В процессе своего этноисторического развития крымские татары вступали в политические, экономические и культурные контакты с другими народами, что нашло отражение и в языке. А. Меметов раскрывает не только «механизмы» заимствований, но и конкретные исторические условия, способствовавшие контактам между тюркскими предками крымских татар и ираноязычными племенами, греками, монголами, арабами, славянами и другими народами.

Выясняя социально-исторические предпосылки иноязычного влияния на крымско-татарский язык, автор монографии пытается установить характер языковых контактов, определить количество заимство-

ваний путем статистического анализа, классифицировать иноязычную лексику с точки зрения ее функции в принимающем языке, рассмотреть особенности адаптации воспринятых из других языков фактов на разных уровнях принимающей системы — семантическом, фонетическом и грамматическом.

Однако в книге наряду с несомненными достоинствами имеются, на наш взгляд, и некоторые неточности. Упущением, по нашему мнению, является анализ в первой главе («Тюркский слой лексики крымско-татарского языка») иноязычных заимствований: *сельби* 'тополь', *зейтюн* 'маслина' (из арабского языка), *портакъл* 'апельсин' (из итальянского), *кестане* 'каштан' (из греческого), *нар* 'гранат', *пирнич* 'рис', *чавдар* 'рожь' (из персидского). Эти наименования растений следовало бы, по нашему мнению, рассмотреть во второй главе, озаглавленной «Иноязычные элементы в крымско-татарском языке».

Следует подчеркнуть, что благодаря богатству использованного материала и удачным авторским наблюдениям и обобщениям монография А. Меметова заслуживает внимания не только специалистов по крымско-татарскому языку, но и всех тюркологов-лексикологов. Выводы данного исследования могут быть полезны при дальнейшей разработке теории развития языка и его лексической системы, теории языковых контактов родственных и неродственных языков.

Т. Айдаров, М. Оразов

И. М. ОТАРОВ. ОЧЕРКИ КАРАЧАЕВО-БАЛКАРСКОЙ ТЕРМИНОЛОГИИ

НАЛЬЧИК: ЭЛЬБРУС, 1987. 96 с.

В рецензируемой работе анализируются общественно-политические термины, названия пищи и термины родства в карачаево-балкарском языке.

В первом очерке сделана попытка определить пути становления и упорядочения общественно-политических терминов, находящихся на стадии унификации. Исследование в основном проводилось на материале языка периодической печати. Автор хронологически выделяет три этапа развития общественно-политических терминов.

Первый (1924—1930) характеризуется привлечением в общественно-политическую терминологию большого количества арабских и персидских заимствований. Например, в тот период активно вводились в оборот слова *мектеп* 'школа', *сиясат* 'политика', *хокумат* 'государство', *хурриет* 'революция' и т. п., которые в современном языке не функционируют.

Второй период (1931—1944) отличается массовым притоком русских и интернациональных терминов. Вместе с тем в это же

время, как указывает автор, наблюдается другая крайность: исконные и собственно карачаево-балкарские терминологические средства не употреблялись или заменялись заимствованиями.

Третий период начался после восстановления автономии карачаевцев и балкарцев и возобновления издания газет и журналов на родном языке (1957). В работе отмечается, что именно тогда началось упорядочение терминосистемы языка. К настоящему времени сформировалась относительно устойчивая общественно-политическая терминосистема, в совершенствовании и развитии которой определенную роль сыграли «Русско-карачаевский политико-терминологический словарь» (Нальчик, 1961) и «Русско-карачаевский словарь общественно-политической терминологии» (Черкесск, 1980). Однако, наряду с положительными сторонами, есть в этих изданиях недостатки — разобщенность, раздробленность материала.

И. М. Отаров уделяет большое внимание узусу и литературной норме употребления общественно-политических терминов, приводит случаи, когда в словарях помещены термины, считающиеся литературной нормой, но на практике вместо них используются другие. Разнобой в их употреблении наблюдается в устной и письменной речи, реже — в региональной и диалектной лексике.

Устранению недостатков и ошибок в употреблении терминов, как считает автор, может способствовать сознательное вмешательство в процесс их отбора и унификации. Однако в книге справедливо, на наш взгляд, критикуются такие попытки вмешательства, когда уже укоренившиеся в языке интернациональные термины типа *литература, культура, история* заменяются заимствованными — *адбият, маданият, тарых* и др.

В этом разделе даны теоретически обоснованные рекомендации правильного выбора того или иного термина. В случае неудачного смыслового перевода автор предлагает применять прием калькирования.

Рассматриваемая работа не лишена недочетов. Так, например, недостаточно раскрыто состояние анализируемой терминосистемы в дореволюционный период, и потому характеристика первого этапа становления общественно-политической терминологии является неполной. Также следовало бы, как нам представляется, коснуться вопроса ораторской речи, сыгравшей немалую роль в формировании общественно-политической терминологии.

Второй очерк посвящен анализу названий, характеризующих процесс принятия пищи, названий плодов, растений, сельскохозяйственных продуктов, различных блюд из них, наименований напитков, посуды и кухонной утвари, трудовых процессов, профессий, связанных с приготовлением пищи. Этот очерк является продолжением

исследований автором терминологии, относящейся к материальной культуре, и содержит интересный этнографический материал. Широко представлена лексика, связанная с названиями пищи и имеющая сложный семантический состав. Как показывают результаты проведенного анализа, основу рассматриваемой терминосистемы составляют общетюркские корни и производные от них слова: *аш* 'еда', *будай* 'пшеница', *сохан* 'лук', *арпа* 'ячмень', *сют* 'молоко', *айран* 'кислое молоко' и др. Исторически более поздними являются собственно карачаево-балкарские названия. Например, *хычын* — вид пирога, *тыммыл* 'плоская лепешка', *гюттю* 'маленькая лепешка' и т. п.

В работе выявлены и другие заимствованные термины, например, персидские: *хант* 'еда', 'кушанье', *пища*, *пиринч* 'рис', *шаптал* 'абрикос', *плоу* 'плов'; кабардинские: *нартюх* 'кукуруза', *быхы* 'морковь', *чибижи* 'перец (красный)'; осетинские: *кюдору* 'соя', 'фасоль', *тюртю* 'барбарис', *юркюн* 'крыжовник'; киргизские: *лагман* — вид лапши, *бешбармак* 'бешбармак'; русские: *салат,пельмени, томат* и др. Этому, пишет автор, способствовали тесные экономические и культурные связи между народами, а также тот факт, что одинаковые природные условия предопределили характер хозяйственной деятельности различных народов кавказского региона.

Анализируемые названия в работе сопоставляются со словами других языков, причем некоторые этимологизируются впервые. Также приводятся архаичные формы отдельных терминов и региональные варианты их в современном карачаево-балкарском языке.

В третьем очерке исследуются термины родства. Многие из них иллюстрируются историческими, этнографическими и этимологическими данными.

Среди рассмотренных автором терминов, за исключением араб. *сабий* 'дитя, ребенок', нет заимствованных. Это свидетельствует о том, что термины родства создавались в общетюркской среде еще в древности. Приведенный материал показывает, что этот пласт лексики обладает большой устойчивостью.

Упущением этого раздела, как нам кажется, является нечеткая дифференциация изучаемых терминов. Например, к терминам кровного родства ошибочно отнесены: *эмчек ана* 'няня', *ёге ана* 'мачеха', *ёге ата* 'отчим', *аталык* 'воспитатель'. Некоторые термины родства с собирательным значением типа *ата-ана* 'родители', *ата-баба* 'предки', 'прадеды' рассматриваются вместе с терминами брачного родства. К последним, на наш взгляд, ошибочно отнесены и слова с собирательным значением: *уллу-гитче* 'стар и млад', *къатын-къыз* 'женщины', *къарындашла-эгечле* 'братья-сестры', *жашла-къызла* 'ребята и девушки'.

Предложенные в очерках лексико-семантическая классификация терминов и исто-

рико-этимологические толкования могут быть использованы при изучении лексики тюркских языков и составлении тюрко-язычных словарей.

В работе содержатся сведения, пред-

ставляющие ценность как для языковедов, так и для этнографов, изучающих вопросы материальной культуры тюркских народов и народов Кавказа.

М. З. Улаков

АННОТАЦИИ

СӘТБАЕВА Ш. Қ. ШОҚАН УӘЛИХАНОВ—ФИЛОЛОГ

АЛМАТЫ: ГЫЛЫМ, 1987. 223 б.

Научное наследие первого казахского ученого-демократа Ч. Ч. Валиханова (1835—1865) — неотъемлемая часть отечественной культуры. Широко отмечавшееся в нашей стране 150-летие со дня его рождения показало, что накоплен определенный опыт изучения творчества этого просветителя, но по-прежнему актуальной остается задача создания фундаментальных, монографических исследований, охватывающих все аспекты многогранной деятельности Ч. Ч. Валиханова.

Вышедшая не так давно книга Ш. К. Сатпаевой «Чокан Валиханов — филолог» в значительной мере способствует решению этой задачи.

Необычайная природная одаренность Ч. Ч. Валиханова проявилась во всех областях его научной, литературной и общественной деятельности. Путешественник, географ, историк, востоковед, этнограф, филолог, переводчик, публицист, художник, он внес огромный вклад в развитие как национальной, так и в целом отечественной культуры. В рецензируемой работе исследуются филологические труды Ч. Ч. Валиханова.

Ш. К. Сатпаева показывает, насколько глубок был интерес Ч. Ч. Валиханова к философской и художественной мысли Запада и Востока, его органическую связь с культурой, литературой соседних среднеазиатских, русского народов, его вклад в изучение материальной и духовной культуры народов ряда регионов страны.

В главе «Труды Ч. Ч. Валиханова о казахской литературе» впервые систематизированы и исследованы деятельность ученого в этой области — начиная с собирания и изучения им фольклорных материалов. Многие высказывания, положения Ч. Ч. Валиханова о казахском фольклоре, его богатстве, времени возникновения эпических

произведений, об особенностях композиции и стиле народной лирики, об Асан-Кайгы, Коргулы, Жиренше-шешен, их эпохе, мысли о необходимости глубокого изучения фольклорных и письменных памятников в их связи с историческими событиями, анализ творчества Бухар-жырау Калкманова, Татикара-жырау, Шал акына, опыт сопоставительного изучения литературных произведений Ч. Ч. Валиханова легли в основу казахской филологии.

Известно, что Ч. Ч. Валиханов многое сделал для изучения истории, географии, этнографии, языка и литературы киргизского народа; он первый записал и перевел отрывки из знаменитого эпоса «Манас», открыв его для мировой литературы. Этому в книге Ш. К. Сатпаевой посвящена глава «Киргизская литература — объект исследования», в которой дан анализ не только вклада Ч. Ч. Валиханова в манасоведение, но и трудов одного из первых исследователей-чокановедов — А. Х. Маргулана.

Ч. Ч. Валиханов был крупнейшим знатком классической литературы Востока, глубоко изучал такие произведения, как «Тысяча и одна ночь», «Панчатантра», «Калила и Димна», творения Фирдоуси, Хафиза, Бедии, Джами, Навои, творчески использовал их в своих трудах.

Главы книги Ш. К. Сатпаевой «Ч. Ч. Валиханов и русская литература», «Образы античной литературы в трудах Ч. Ч. Валиханова» и «Внимание и интерес к представителям западно-европейской литературы» — результат нового вдумчивого прочтения автором филологического наследия Ч. Ч. Валиханова, новое слово в казахском литературоведении.

Связи Ч. Ч. Валиханова с русской культурой, обстоятельство встречи и дружбы его с Ф. М. Достоевским в достаточной

степени изучены, но в книге Ш. К. Сатпаевой они получили более глубокое отражение благодаря привлечению обширного, ранее неизвестного материала.

Ч. Ч. Валиханов не только знал историю русской, западно-европейской литературы, но и широко, творчески использовал эти знания в своих трудах, в обращениях к мыслящей части современного ему русского общества, ведь он был первым казахским ученым, литератором, писавшим на русском языке. Гомер и Геродот, Гораций, Платон, Птолемей, миф о Полифеме, мифы о похищении Зевсом Европы, о Марсе, Сатурне, амазонках, легенды восточных стран, Шекспир, Карлейль, Жорж Санд, Шлегель, Милль, Бокль — вот далеко не полный перечень произведений и авторов широкой литературы, к которым обращается в своих трудах Ч. Ч. Валиханов.

Ч. Ч. Валиханов эффективно использовал для осуществления своих научных замыслов обширный образный арсенал античной и современной ему западно-европейской

литературы. Обилие литературных ассоциаций, прямые ссылки на произведения, цитирование реминисценций характерны для трудов Ч. Ч. Валиханова, насыщенных экскурсами в необъятное море русской, западной, восточной художественной культур. Эта особенность творческого наследия Ч. Ч. Валиханова впервые стала объектом исследования в книге Ш. К. Сатпаевой.

О том, что передовая казахская, русская и западно-европейская общественность еще при жизни ученого высоко ценила личность и труды Ч. Ч. Валиханова, можно узнать из последних двух глав монографии Ш. К. Сатпаевой — «Первая песня-элегия о Ч. Ч. Валиханове» и «Ч. Ч. Валиханов в оценке дореволюционной русской и зарубежной печати».

Богатый фактический материал, тонкие наблюдения, новизна исследования определяют ценность новой монографии Ш. К. Сатпаевой «Шоқан Уәлиханов — филолог», делают ее вкладом в чокановедение.

Р. Нурғалиев

М. САПАРОВ. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ ТЮРКСКИХ ЯЗЫКОВ ХОРЕЗМСКОГО ОАЗИСА

ТАШКЕНТ: ФАН, 1988

Путем сравнения лексических пластов огузского наречия и туркменского языка автор книги приходит к следующим выводам: а) основное словарное богатство огузского наречия и туркменского языка составляют исконно тюркские слова; б) в языке огузов Хорезма и туркмен значительное место занимают персидские заимствования, однако они отличаются от персидско-таджикского лексического пласта узбекского литературного языка: в огузском наречии, туркменском языке и узбекском литературном одно и то же понятие выражается разными словами, заимствованными из арабского и таджикско-персидского языков.

Раздел, посвященный исследованию лексико-семантических особенностей огузского наречия и туркменского языка, также пред-

ставляет значительный интерес. На основе лексико-семантического анализа особенностей параллельно существующих в огузском наречии и туркменском языке лексических единиц автор заключает, что исходные значения подобных слов особенно хорошо сохранились именно в туркменском языке.

Другие разделы посвящены сужению, расширению и переосмыслению значений слов.

Рецензируемая монография имеет определенное научно-практическое значение не только для туркменского и узбекского языков, но и для истории, и этнографии его носителей, является значительным вкладом в сравнительное изучение тюркских языков.

К. К. Каримов, К. А. Шарипова

НАУЧНАЯ И КУЛЬТУРНАЯ ЖИЗНЬ

ВЫЕЗДНАЯ СЕССИЯ БЮРО ОТДЕЛЕНИЯ ЛИТЕРАТУРЫ И ЯЗЫКА АН СССР

22—25 ноября 1988 г. в Ташкенте состоялось выездное заседание бюро Отделения литературы и языка АН СССР, посвященное двуязычию и многоязычию в советской многонациональной культуре. В его работе приняли участие заместитель академика-секретаря ОЛЯ чл.-корр. АН СССР Ю. Н. Караулов, заместитель академика-секретаря по научно-организационным вопросам д-р филол. наук В. П. Нерознак, акад. Д. Н. Шмелев, члены-корреспонденты АН СССР Э. Р. Тенишев и В. Н. Ярцева, ведущие ученые Института русского языка, Института языкознания АН СССР, институты соответствующего профиля академий союзных республик, а также институты ряда автономных республик — филиалов Академии наук СССР.

Всего было заслушано 39 докладов и выступлений.

Со вступительным словом к участникам заседания обратился вице-президент АН УзССР Э. Ю. Юнусов.

Свой доклад академик Д. Н. Шмелев (Москва) посвятил разной степени владения двумя языками. Двуязычие, по словам докладчика, возникает в процессе непосредственного общения людей, говорящих на разных языках, особенно детей. Однако обучение в школе не гарантирует свободного двуязычия, так как в ней изучают в основном пунктуационные и орфографические правила языка. Сам же язык остается неизученным. В некоторых публикациях говорится о вреде двуязычия, хотя опыт многих стран показывает, что двуязычие обогащает, развивает психические возможности человека.

Говоря о формах двуязычия, Д. Н. Шмелев подчеркнул, что русское население должно владеть языком той республики, на территории которой оно проживает. Это непременное условие для нормальной жизни. Что касается русского, то, например, в Узбекистане преподавание его ведется на низком уровне. Об этом можно судить по слабому знанию русской речи узбекскими студентами, обучающимися в Московском государственном пединституте им. В. И. Ленина.

Б. А. Назаров (Ташкент) подверг критике деформацию и искажения национальных отношений в Узбекистане застойного времени. Слабость учительских кадров, отсутствие словарей, учебников, методических пособий, малые тиражи разговорников стали одной из основных причин неудовлетворительной постановки преподавания узбекского языка в школах с русским языком обучения. В ряде вузов республики кафедры узбекского языка были упразднены. В настоящее время отношение к изучению в школах как русского, так и родного языка пересматривается. Преподавание будет вестись на семи языках.

Во многих районах Самаркандской и Бухарской областей газеты станут дублироваться на таджикский язык.

Докладчик говорил также о необходимости придания узбекскому языку статуса государственного.

Ю. Н. Караулов (Москва) свое выступление посвятил теории языкового сосуществования. По его мнению, изучение второго языка необходимо начинать чуть позже родного, но вести параллельно с ним. Следует добиваться того, чтобы дети, окончивая среднюю школу, свободно владели двумя языками. Докладчик коснулся также вопроса об увеличении срока обучения в школе до 12 лет и об улучшении учебных программ по родному языку, ведущихся республиканским теле- и радиовещанием. Особо было подчеркнуто, что гармоническое двуязычие — это целенаправленное функциональное двуязычие, при котором создается психологическая комфортность. Потребности государства, республик и областей, по мнению выступающего, должны обслуживаться межнациональными языками.

Э. Р. Тенишев (Москва) остановился на двух исторических фактах. Первый — это широкое распространение арабского языка в Дагестане и кумыкского — в Закавказье. Последний в XIX в. преподавался в гимназиях Тифлиса, Ставрополя, Моздока, Астрахани и других городов.

Второй исторический факт — это использование якутского языка в качестве

средства общения многими народами Сибири. В середине XIX в. он подобно французскому в Европе закрепился и у русского населения Сибири. Якутский язык был распространен от Колымы до Енисея, от Амура до северных границ. Уровень его развития и культура якутов были по сравнению с языками и культурой других народов Сибири значительно выше.

В. Н. Ярцева (Москва) говорила о том, что языкознание — это часть философской мировоззренческой науки данного периода. Разнообразие языков земного шара породило частные вопросы языкознания. Приоритетные языки существовали и раньше. Так, докторские диссертации в Европе защищались на латинском. Арабский язык — язык ислама, корана был широко распространен на Востоке. Эти типы двуязычия были замкнутыми: их знали только отдельные социальные группы. Современные типы двуязычия в корне другие. Например, национально-русское двуязычие охватывает такие сферы, как семья, учеба, производство, культурные связи.

Касаясь вопроса методов изучения двуязычия, В. Н. Ярцева остановилась на контрастивных (или сопоставительных) методах изучения языков, на создании такого же типа грамматик, на необходимости введения экзамена (или зачета) по теории и истории родного языка для аспирантов.

М. З. Закиев (Казань) в своем выступлении подверг критике те деформации в национальных отношениях, которые имели место раньше. Он призвал по-новому, в свете решений XIX партконференции, рассмотреть вопрос о национальных языках.

Хасанов Б. (Алма-Ата) сообщил о тех мерах по улучшению изучения родного языка (в частности казахского и немецкого), которые были приняты после алма-атинских событий. Состоялся пленум Союза писателей КазССР, на котором был обсужден вопрос о придании казахскому языку статуса государственного. В правовом государстве, по мнению выступающего, не должно быть так, чтобы государственным был только один язык. В условиях перестройки необходимы кардинальные меры по двустороннему развитию двуязычия.

В докладе О. Н. Назарова (Ашхабад) говорилось о том, что функции туркменского языка в республике довольно узкие, несмотря на то, что 68% населения — туркмены. В сфере науки распространен русский, а сами ученые не знают туркменского. В настоящее время обсуждается проект программы изучения туркменского и русского языков. В нем предусматривается совершенствование полиграфической базы, преподавания русского языка в национальных школах. По словам докладчика, в качестве государственного нужны два языка. При этом следует уточнить понятие «государственный», чтобы не было

разночтений, разного толкования и понимания. Одновременно необходимо проявлять заботу и о других языках.

По мнению И. Кучкартаева (Ташкент), объявление национального языка государственным не означает подавление одного языка другим. Такая мера будет способствовать увеличению числа медицинских и занятых в сельском хозяйстве кадров, изданию методических пособий по родному языку. Национальные языки нуждаются в государственной и общественной поддержке. Говоря о формах двуязычия, докладчик подчеркнул, что в республике в основном развито одностороннее (национально-русское) двуязычие и меньше — двустороннее (русско-национальное). Развитие массового двустороннего двуязычия снизит болевые точки в национальных отношениях.

К. М. Кошанов (Нукус) в своем докладе, посвященном вопросам каракалпакско-русского двуязычия, отметил, что обучение родному языку в Каракалпакской АССР по сравнению с автономными республиками Российской Федерации поставлено неплохо. Что касается взаимообогащения языков, то процесс этот происходит хаотично. Использование огромного количества русских слов в каракалпакском языке влияет на культуру речи. Говоря о принятии национального языка в качестве государственного, Е. М. Кошанов задался вопросами: что это даст? Не произойдет ли ущемление других языков, культур и народов?

Г. Абдурахманов (Ташкент) в своем выступлении коснулся проблемы преподавания русского языка в национальных школах Узбекистана. Существовавший в республике в период застоя принцип отбора студентов из областей привел к созданию порочного круга: плохие учителя — плохие ученики — плохие студенты и т. д. В результате русский язык в сельских школах преподавался на узбекском языке. Не годится и система подготовки кадров в медицинских и сельскохозяйственных институтах, где все предметы преподаются на русском языке. Не на должном уровне создаются учебники и учебные пособия. Докладчик внес предложение придать русскому языку статус общегосударственного, а национальному — государственно-го в национальных республиках.

И. У. Асфандияров (Ташкент) подчеркнул, что в настоящее время вопросы национальных языков являются одними из самых актуальных. Так, например, 90% узбекской интеллигенции не знают родного языка. Под предлогом пожелания родителей в застойные годы часть школ с преподаванием на таджикском, корейском и ряде других языков была закрыта. Сейчас в республике обучение в школе ведется лишь на семи языках, хотя проживают в ней представители более 40 национальностей.

Докладчик призвал к развитию национально-русского двуязычия, а также к пропаганде культуры и освещению истории народов УзССР в учебных заведениях.

Положению с национальным языком в Башкирии посвятил свое выступление З. Г. Ураксин (Уфа). По его словам, в Башкирской АССР проживает более 70 национальностей, из них более или менее компактно — 12. Многие башкиры своим родным языком признают русский и татарский. В прежние годы в республике функционировали школы на семи языках (башкирском, татарском, марийском, мордовском, русском, чувашском, удмуртском). Однако за последние двадцать лет 646 из них были переведены на русский язык обучения. В настоящее время положение несколько изменилось: в 200 школах введен факультатив по башкирскому языку. На два года рассчитана программа по башкирскому языку, истории и культуре башкир в русских школах. По мнению докладчика, в автономных республиках необходимо узаконить статус национального языка, наметив при этом сферы его употребления.

З. Исхакова (Казань) рассказала о характере двуязычия в Казани. В городе проживает более 70 национальностей. Основную часть населения составляют русские и татары. Однако во всех государственных учреждениях делопроизводство ведется только на русском языке. В Казани нет ни одной татарской школы. Падению престижа татарского языка среди молодежи способствуют, в частности, недостаточный тираж словарей и учебников, отсутствие педагогов. Не спасает положение и робкая организация кружков по изучению родного языка.

А. Н. Баскаков (Москва) говорил о том, что при решении национальных вопросов и языковых проблем важно не допускать ошибок. Следует учитывать все аспекты этих проблем, чтобы не получить неправильные представления об истинном положении вещей. Говоря о принятии государственности национальным языком, необходимо выработать его статус, ибо этот шаг может обернуться очередным формальным решением. Командно-административный метод руководства привел, например, к тому, что в Алма-Ате, во Фрунзе закрылись многие национальные школы, произошла деградация языка преподавания. В этих регионах налицо явный перекося — в городах сосредоточены все культурные и научные учреждения, сохраняется социальная база функционирования литературного языка. Носители литературного языка — горожане, а диалектов и просторечия — сельские жители. Чтобы исправить это положение, необходима перестройка социальных условий.

В. П. Нерознак (Москва), говоря о полиязычности советского общества, отметил, что нам необходимо отказаться от теории бесконфликтного развития языковых ситуаций. Конфликты будут до тех пор, пока

существуют народы и их языки. Наша задача — заботиться об экологии этих языков.

Докладчик призвал лингвистов заниматься теорией типов языковых обществ, методикой определения двуязычия, созданием атласа нового типа двуязычия: типа речи, в основу которого должны лечь не изоглоссы, а изореми.

В. Ю. Михальченко (Москва) обратила внимание участников заседания на то, что социалингвистика долгие годы не признавалась в качестве самостоятельной полноценной науки. В настоящее время создан научный совет «Язык и общество», руководимый чл.-корр. АН СССР В. Н. Солнцевым.

Приступая к работе над многотомным изданием «Языковая жизнь народов СССР», по мнению докладчицы, необходимо создать круглый стол по малым народам и затем издать его материалы.

Т. Б. Крюкова (Москва) отметила, что социалингвистика требует глобальных исследований социальных условий развития языков, двуязычия и др. Естественно, не все языки могут функционировать одинаково во всех социальных сферах. Например, терминология по космической технике развивается только на основе английского и русского языков. Переводные издания терминологических словарей, как считает Т. Б. Крюкова, не приведут к развитию функций того или иного языка в науке. Нужно объективно смотреть на сложившуюся языковую ситуацию, ибо переломить устоявшиеся социальные традиции порой невозможно.

А. А. Азизов (Ташкент), говоря о социальных условиях, приведших в Узбекистане к исчезновению ораторской и научной речи, считает необходимым придать узбекскому языку статус государственного.

А. Э. Эркебаев (Фрунзе) подчеркнул, что в Киргизской ССР остра проблема родного языка. В настоящее время в республике после предварительного обсуждения на страницах печати принята комплексная программа по развитию киргизско-русского и русско-киргизского двуязычия, определены функции и статус киргизского языка. Второй год сессии Верховного Совета КиргССР, другие правительственные совещания и заседания проводятся на киргизском языке. Открыты кафедры киргизского языка, отделения при ряде вузов, организованы кружки по изучению национальных языков Киргизии.

По мнению М. И. Умарходжаева (Андижан), двуязычие должно быть национальной потребностью. Он призвал не повторять старых ошибок и критиковал ученых, ратующих за возвращение алфавита на основе арабской графики.

В заключение выездная сессия ОЛЯ АН СССР приняла резолюцию и некоторые рекомендации.

Л. В. Данилова

ПАМЯТИ АКАДЕМИКА А. Н. КОНОНОВА

У ленинградских тюркологов стало доброй традицией встречаться ежегодно 27 октября, чтобы почтить память академика Андрея Николаевича Кононова. Эти встречи, проходящие как научные заседания на кафедре тюркской филологии восточного факультета Ленинградского университета, всегда привлекают не только ленинградцев, но и ученых из других городов нашей страны. Гости из Москвы и Узбекистана присутствовали и на очередном заседании, посвященном 82-й годовщине со дня рождения А. Н. Кононова. Были представлены: ленинградские коллективы востоковедов: восточный факультет государственного университета, отделение Института востоковедения АН СССР, отделение Института языкознания АН СССР, часть Института этнографии АН СССР.

Открывая заседание, заведующий кафедрой тюркской филологии восточного факультета ЛГУ В. Г. Гузев подчеркнул, что труды А. Н. Кононова не утрачивают своей научной значимости, высказанные им в свое время суждения являются для многих его учеников и коллег надежными ориентирами.

И. В. Кормушин (Институт языкознания АН СССР, г. Москва) сообщил о существенной поправке в чтении одного из тюркских рунических памятников (Е 60 по «Корпусу тюркских рунических памятников...» Д. Д. Васильева), что стало возможно благодаря дополнительному обследованию памятника на месте.

С. Г. Кляшторный (сектор тюркологии и монголистики Ленинградского отделения Института востоковедения АН СССР) информировал о новой, более точной датировке семиреченской группы тюркских рунических памятников.

М. Н. Боголюбов (восточный факультет ЛГУ), отметив, что А. Н. Кононов занимался и различными этимологическими розысканиями, предложил собравшимся интересную интерпретацию происхождения названия планеты Марс в тюркских языках в связи с иранскими языковыми элементами. Указанное название содержится, в частности, в 4888 бейте «Кутадгу билиг» Юсуфа Баласагуни.

С. Н. Иванов (восточный факультет ЛГУ), также обратившись к проблемам этимологии, поделился своим мнением о

грамматической сущности некоторых тюркских аффиксов и особенностях их происхождения. Он высказал, приведя соответствующие аргументы, мысль о том, что аффикс *-ма* (первоначально показатель отглагольного имени) лишь со временем переосмыслился в форму отрицания, первоначальная же сущность этих двух грамматических форм едина.

А. П. Векилов (восточный факультет ЛГУ) сделал сообщение о вышедшей в Турции библиографической сводке по турецкой диалектологии Бюлена Гюленсоя (Евфратский университет, Турция). Выступавший подверг критике слишком расширенное, на его взгляд, толкование термина «диалект» у Гюленсоя, в частности отнесение современных гагаузского и туркменского языков к «диалектам» турецкого языка.

Д. М. Насилов (сектор алтайских языков Ленинградского отделения Института языкознания АН СССР) ознакомил собравшихся с итогами V Всесоюзной тюркологической конференции, состоявшейся 7–9 сентября 1988 г. в г. Фрунзе. По мнению докладчика, конференция показала возросший уровень тюркологии в нашей стране. При этом, отметил Д. М. Насилов, в сфере тюркологии сохраняется все же много проблем и среди главных — воспитание и подготовка квалифицированных кадров.

В. Г. Гузев в своем сообщении коснулся лингвистической проблематики, выходящей за рамки тюркского языкознания. Он отметил, что изучение тюркских языков часто приводит к столкновению с европоцентристскими представлениями о грамматических категориях. Многие грамматические формы тюркских языков остаются за пределами привычных для нас категорий, и, что особенно необычно, грамматическая категория в тюркских языках может быть представлена даже единичной грамматической формой.

Участники заседания в этот же день возложили цветы на могилу А. Н. Кононова.

Хочется надеяться, что со временем утвердится традиция проведения Кононовских чтений.

М. С. Фомкин

PERSONALIA

НАГИМ ХАЖИГАЛИЕВИЧ ИШБУЛАТОВ

(К 60-летию со дня рождения)



Исполнилось 60 лет со дня рождения заведующего кафедрой башкирского языкознания Башкирского государственного университета имени 40-летия Октября, заслуженного деятеля науки Башкирской АССР, доктора филологических наук, профессора Нагима Хажигалиевича Ишбулатова.

Н. Х. Ишбулатов родился 10 августа 1928 г. в дер. Казмашево Абзелиловского района Башкирской АССР. В 1952 г. он окончил башкирское отделение филологического факультета Башкирского госпединститута им. К. А. Тимирязева. Еще в студенческие годы, проявив интерес к научным изысканиям и принимая участие в диалектологических экспедициях, Н. Х. Ишбулатов собрал значительный материал по разговорному языку башкир. Свои исследования по диалектологии он продолжил в аспирантуре Института языкознания АН СССР, где его руководителем был член-корреспондент АН СССР Н. К. Дмитриев. После окончания аспирантуры в 1955 г. Н. Х. Ишбулатов направляется в Институт истории, языка и литературы Башкирского филиала АН СССР. Здесь он принимает

участие в составлении «Русско-башкирского словаря», продолжает работу в области башкирской диалектологии. Под его руководством были организованы диалектологические экспедиции, результаты которых впоследствии были опубликованы в различных сборниках, монографических работах и словарях.

С 1964 г. Н. Х. Ишбулатов работает в Башкирском государственном университете им. 40-летия Октября: сначала доцентом кафедры башкирского языкознания, а с 1968 г. — заведующим кафедрой башкирского языкознания. В 1975 г. он защитил докторскую диссертацию на тему: «Сравнительное исследование диалектов башкирского языка».

Н. Х. Ишбулатов ведет исследования также по морфологии башкирского литературного языка. В 1962 г. была издана его работа «Современный башкирский язык. Классификация частей речи», в которой части речи описываются на основе их классификационных признаков и в связи с другими частями речи. В монографии «Современный башкирский язык. Система норм литературного языка» (1972) система норм литературного языка рассматривается исходя из структуры общенародного языка и диалектов. В учебном пособии для вузов «Фонетика современного башкирского языка» (1982) дана новая классификация звуков, установлены закономерности их изменений, определены условия редукции гласных звуков после первого слога слова.

Н. Х. Ишбулатовым разработаны и читаются общие вузовские курсы: «Сравнительно-историческая грамматика тюркских языков», «Введение в тюркологию», «Фонетика башкирского языка», спецкурсы «Теория частей речи», «Сравнительная диалектология» и др.

Нагим Хажигалиевич наряду с научной и научно-педагогической деятельностью ведет большую общественную работу: является членом Терминологической комиссии при Президиуме Верховного Совета БАССР, членом специализированного совета по защите кандидатских диссертаций по филологии при Башкирском госуниверситете.

З. Г. Ураксин

ИВАН ПАВЛОВИЧ ПАВЛОВ

(К 60-летию со дня рождения)



Исполнилось 60 лет со дня рождения и 40 лет научно-педагогической деятельности известного чувашского языковеда, кандидата филологических наук, заведующего отделом языка Научно-исследовательского института языка, литературы, истории и экономики при Совете Министров Чувашской АССР Ивана Павловича Павлова.

И. П. Павлов родился 23 августа 1928 г. в д. Челкасы Аликовского района Чувашской АССР. Педагог по образованию, он в 1953 г. успешно защитил кандидатскую диссертацию на тему: «Деепричастия в чувашском языке и их синтаксические функции». С августа 1953 г. он — заведующий сектором языка Научно-исследовательского института языка, литературы и истории при Совете Министров Чувашской АССР, с сентября 1957 г. — доцент кафедры чувашского языка и литературы Чувашского государственного педагогического института им. И. Я. Яковлева, с 1967 г. — доцент кафедры чувашского языкознания Чувашского государственного университета им. И. Н. Ульянова. В 1981 г. И. П. Павлов переходит в Чувашский НИИЯЛИЭ на должность заведующего отделом языка.

Много сил и энергии вложил ученый в исследование малонизученных вопросов морфологии и синтаксиса чувашского языка.

Творческим итогом его многолетних исследований стали монография «Современный чувашский литературный язык. Морфология» (1965) и «Краткий очерк морфологии современного чувашского литературного языка» (1974—1975). И. П. Павловым опубликована также серия статей по вопросам синтаксиса сложного предложения чувашского языка.

И. П. Павлов является автором стабильных школьных учебников по фонетике и морфологии для чувашских школ, которые выдержали по десять и более изданий. Им разработаны и опубликованы дидактические пособия: «Изучение морфологии чувашского языка в V—VI классах» (1985), «Дидактический материал к учебнику чувашского языка для 4 класса» (1985), наглядные пособия для национальных школ республики с методическими указаниями. В годы работы в вузах республики ученый составил ряд программ по вузовским филологическим курсам, а также учебное пособие «Современный чувашский литературный язык. Сборник упражнений» (1970).

Неоценимый вклад внес И. П. Павлов в чувашскую лексикографию, будучи соавтором «Русско-чувашского словаря» (1961) и «Чувашско-русского словаря» (1982, 1985). В течение ряда лет он активно работал по нормализации чувашского литературного языка и опубликовал по этой проблеме ряд статей.

И. П. Павлов принимал самое активное участие во всех диалектологических экспедициях. Под его руководством была заложена и продолжает пополняться Генеральная словарная картотека чувашского языка — неоценимая база для создания двуязычных отраслевых, терминологических и толковых словарей.

Велик вклад ученого в дело народного просвещения и в подготовку научных кадров по чувашской филологии.

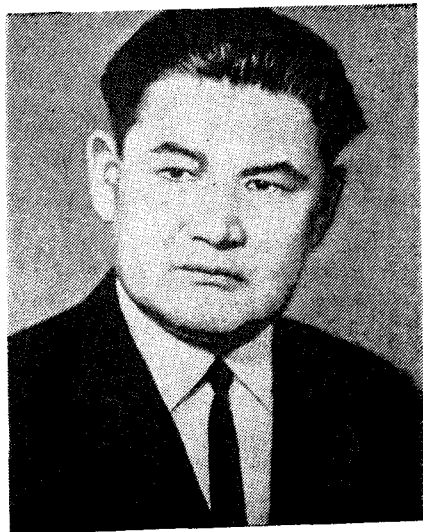
И. П. Павлов продолжает плодотворно трудиться. Он завершил монографическое исследование по морфологии чувашского языка, которое составит один из томов трехтомной «Грамматики современного чувашского языка», подготовленной к печати под его руководством.

Поздравляя талантливого ученого, педагога и наставника со славным юбилеем, мы, его ученики, коллеги и друзья, желаем ему доброго здоровья и творческого долголетия на благо чувашского языкознания.

Н. И. Егоров

ГАЛИ ГАЛИЕВИЧ САИТБАТТАЛОВ

(К 60-летию со дня рождения)



Исполнилось 60 лет со дня рождения и 35 лет научно-педагогической и общественной деятельности известного башкирского языковеда, заслуженного деятеля науки Башкирской АССР, доктора филологических наук, профессора Башкирского государственного университета имени 40-летия Октября Гали Галиевича Саитбатталова.

Г. Г. Саитбатталов родился 17 декабря 1928 г. в деревне Сейткулово Кугарчинского района Башкирской АССР. В 1946 г. он поступил на башкирское отделение факультета языка и литературы Башкирского государственного педагогического института имени К. А. Тимирязева, по окончании которого был направлен в аспирантуру Института языкознания АН СССР. Кандидатскую диссертацию на тему «Виды придаточных предложений в башкирском языке» Г. Г. Саитбатталов успешно защитил в 1954 г. С тех пор он работает на кафедре башкирского языкознания Баш-

кирского государственного университета им. 40-летия Октября.

Г. Г. Саитбатталовым написано около двухсот научных работ, в том числе четыре монографии по синтаксису и стилистике башкирского языка. В 1961 г. вышло его фундаментальное исследование «Синтаксис сложного предложения башкирского языка» (в 1969 г. на эту же тему Г. Г. Саитбатталов успешно защитил докторскую диссертацию), в 1972 г. — «Синтаксис простого предложения башкирского языка». Обе работы привлекли внимание языковедов-тюркологов тем, что в них совершенно по-новому описаны типы и структуры сложных синтаксических конструкций и решены вопросы теории синтагм, словосочетаний, развернутых членов предложения и др.

Исследования Г. Г. Саитбатталова по теории предложения послужили основой для создания новых, более совершенных учебников для средних школ и педагогических училищ.

Г. Г. Саитбатталов является автором и двух следующих монографий: «Стилистика и пунктуация башкирского языка» (1978), «Стилистика башкирского языка» (1985). В этих работах обобщены многолетние наблюдения ученого по данной актуальной проблеме.

Гали Галиевича отличает живой интерес к языковой практике, к культуре речи. Им опубликованы десятки статей о языке башкирских писателей, периодической печати, радио.

Научно-педагогическую деятельность Г. Г. Саитбатталов успешно сочетает с организаторской и общественной работой. Он член орфографической и терминологической комиссий при Президиуме Верховного Совета БАССР, избирался депутатом Уфимского городского Совета.

Поздравляя Гали Галиевича с юбилеем, его коллеги, ученики, друзья желают ему доброго здоровья, новых творческих успехов.

З. Г. Ураксин, Р. Г. Сибгатов

С О Д Е Р Ж А Н И Е

- И. В. Кормушин, К. М. Мусаев (Москва), Б. О. Орузбаева (Фрунзе). За всемерное развитие тюркского языкознания в новых общественных условиях советской действительности 3

СТРУКТУРА И ИСТОРИЯ ЯЗЫКА

- Г. Ф. Благова (Москва). Языковое выражение отношения «автор—адресат» в «Бабур-наме» 16
Д. М. Насилов (Ленинград). Взаимосвязи функционально-семантических полей в тюркских языках 28
С. А. Соколов (Москва). Категория определенности/неопределенности как система выражения коммуникативных и семантико-синтаксических отношений 32

ФОЛЬКЛОР. ЛИТЕРАТУРА. КУЛЬТУРА

- Н. Дж. Мамедов (Баку). М. Ф. Ахундов (к 175-летию со дня рождения) 42
Х. Кулиева-Кавказлы (Баку). Пир Султан Абдал и турецкая литература 54

ДИСКУССИИ И ОБСУЖДЕНИЯ

- Ю. М. Сеидов (Баку). Есть ли в азербайджанском языке (вообще в тюркских языках) отрицательные местоимения? 60

МАТЕРИАЛЫ И СООБЩЕНИЯ

- Н. А. Баскаков (Москва). Титулы и звания в социальной структуре бывшего Хивинского ханства 63
А. В. Дыбо (Москва). К истории традиционных антропометрических терминов (Среднеазиатская мера длины *qagı* и др.) 71
И. В. Дрон (Жиганск). Является ли *Кишинэу* латинизмом ли тюркизмом? 80
Лайош Лигети (ВНР). М. А. Федотов. Б. Мункачи о тюркских элементах в венгерском языке // Сов. тюркология. 1985. № 1 87

КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ

РЕЦЕНЗИИ

- А. Мамедов (Баку), А. А. Чеченов (Москва), Е. З. Кажибек (Алма-Ата). Юсупов Ф. Ю. Изучение татарского глагола 93
Ш. Салманов (Баку). Т. Д. Меликов. Назым Хикмет и новая поэзия Турции 96
Т. Айдаров, М. Оразов (Ташкент). А. М. Меметов. Источники формирования лексики крымско-татарского языка 98
М. З. Улаков (Нальчик). И. М. Отаров. Очерки карачаево-балкарской терминологии 99

АННОТАЦИИ

- Р. Нургалиев (Алма-Ата). Сәтбаева Ш. Қ. Шоқан Уәлиханов—филолог 101
К. К. Каримов, К. А. Шарипова (Ташкент). М. Сапаров. Взаимоотношения тюркских языков Хорезмского оазиса 102

НАУЧНАЯ И КУЛЬТУРНАЯ ЖИЗНЬ

Л. В. Данилова (Ташкент). Выездная сессия бюро Отделения литературы и языка АН СССР	103
М. С. Фомкин (Ленинград). Памяти академика А. Н. Кононова	106

PERSONALIA

З. Г. Ураксич (Уфа). Нагим Хажигалиевич Ишбулатов	107
Н. И. Егоров (Чебоксары). Иван Павлович Павлов	108
З. Г. Ураксин, Р. Г. Сибгатов (Уфа). Гали Галиевич Сайтбатталов	109

CONTENTS

I. V. Kormushin, K. M. Musayev, (Moscow), B. O. Oruzbayeva (Frunze). For the general development of the Turkic linguistics in the Soviet up-to-date social conditions	3
---	---

STRUCTURE AND HISTORY OF LANGUAGE

G. F. Blagova (Moscow). Language expression of the relation «author—addressee» in «Babur-name»	16
D. M. Nasilov (Leningrad). Correlation of the functional-semantic fields in the Turkic languages	28
S. A. Sokolov (Moscow). The category of definition-nondefinition as a system of expression of communicative and semantical-syntactical relations	32

FOLKLORE. LITERATURE. CULTURE

N. J. Mamedov (Baku). M. F. Akhundov (to the 175th anniversary)	42
Kh. Kuliyeva-Kavkazly (Baku). Pir Sultan Abdal and the Turkish literature	54

DISCUSSIONS

Yu. M. Seyidov (Baku). Are there in Azerbaijani (or in Turkic languages generally) negative pronouns?	60
---	----

MATERIALS AND REPORTS

N. A. Baskakov (Moscow). Titles and ranks in the social structure of the former Khivin State	63
A. V. Dybo (Moscow). Towards the traditional anthropometric terms (Asian measure of length qarī and others)	71
I. V. Dron (Zhigansk). Has Kishineu a Latin or Turkic origin?	80
Layosh Ligeti (Hungary). M. A. Fedotov. B. Munkachi: Turkic elements in the Hungarian language // Sov. Turkology. 1985, № 1.	87

CRITICISM AND BIBLIOGRAPHY

REVIEWS

A. Mamedov (Baku), A. A. Chechenov (Moscow), E. Z. Kazhibekov (Alma-Ata). Юсупов Ф. Ю. Изучение татарского глагола	93
Sh. Salmanov (Baku). Т. Д. Меликов. Назым Хикмет и новая поэзия Турции	95
T. Aidarov, M. Orazov (Tashkent). А. М. Меметов. Источники формирования лексики крымско-татарского языка	98
M. Z. Ulakov (Nalchik). И. М. Отаров. Очерки карачаево-балкарской терминологии	99

ANNOTATIONS

- R. Nurgaliyev* (Alma-Ata). Сатбаева Ш. Қ. Шоқан Уәлиханов — филолог . 101
K. K. Karimov, K. A. Sharipova (Tashkent). М. Сапаров. Взаимоотношения
 тюркских языков Хорезмского оазиса . 102

SCIENTIFIC AND CULTURAL LIFE

- L. V. Danilova* (Tashkent). Exit Session of the Bureau of literature and language
 department of AS USSR . 103
M. S. Fomkin (Leningrad). To the memory of Academician A. N. Kononov . 106

PERSONALIA

- Z. G. Uraksin* (Ufa). Nagim Khazhigaliyevich Ishbulatov . 107
N. I. Yegorov (Cheboksary). Ivan Pavlovich Pavlov . 108
Z. G. Uraksin, R. G. Sibagatov (Ufa). Gali Galiyevich Saitbattalov . 109

© «Советская тюркология», 1989 г.

Технический редактор *Б. М. Абдуллаев*

Корректоры *А. А. Гусейнова, С. Дж. Эфендиева*

Сдано в набор 15.12.88. Подписано к печати 22.02.89. ФГ 150062. Формат бумаги
 70×108¹/₁₆ Бум. л. 3,5. Физ. печ. л. 11,2. Уч. изд. л. 10,4.
 Заказ 8800. Тираж 2480. Цена 1 руб. 10 коп.

Адрес редакции: 370143, Баку-143, просп. Нариманова, 31, Академгородок.
 Типография издательства «Коммунист», 370146, Баку-146, Метбуат просп. 529 квартал.

Индекс 70927

1 р. 10 к.

25-5-142